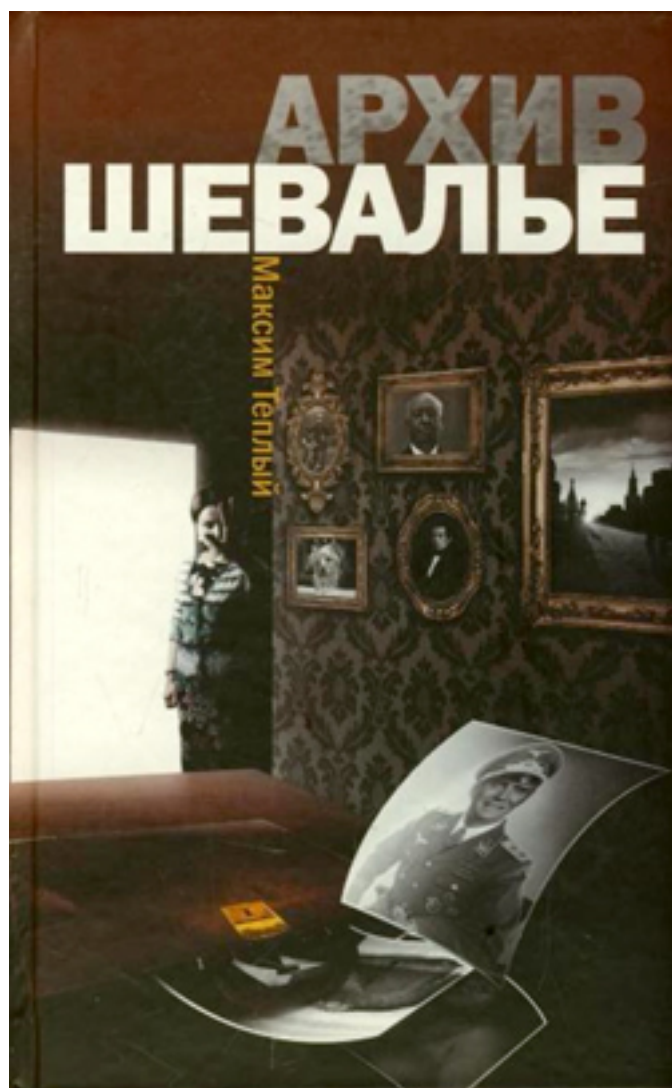


# АРХИВ ШЕВАЛЬЕ

Максим Теллы



Максим Теплый  
**Архив Шевалье**

«АСТ»

2009

## Теплый М.

Архив Шевалье / М. Теплый — «АСТ», 2009

Канун и начало 90-х годов прошлого века. Россия и Германия – вечные заклятые друзья. В России – мышьяная возня «тонкошеих вождей» возле партийного трона – уходящая натура – и опереточные страсти псевдодемократов. В Германии – полуфантастическая находка архива пожелтевших лагерных рисунков укрывшихся фашистских вождей, готовых к броску вперед – в прошлое. И невольное вмешательство в детективную русско-немецкую интригу молодого политолога Каленина. Как всякая хорошая литература, этот текст полифоничен. Кто-то прочтет его как по-булгаковски мастерски написанную безжалостную сатиру на нравы «лихих 90-х», кто-то вздрогнет, ощутив совсем близко щупальца опасного прошлого. Уходящая ли натура? Круто заваренный и насыщенный детективно-политический бульон Максима Теплого, несомненно, по вкусу читателю: к хорошему, как известно, быстро привыкаешь и начинаешь испытывать чувство благодарности к автору. Ведь появляется возможность узнать о чем-то под грифом «совершенно секретно», пусть и в лукавой литературной форме.

© Теплый М., 2009

© АСТ, 2009

## Содержание

От издательства	5
Поезд Париж – Кёльн – Москва, ...ноября 1986 года, 4 часа утра	6
Москва, ...марта 1985 года. Попытка заговора	8
Десять минут спустя... Горбачев и Грушин	13
Часом позже... «Этот не утонет!»	15
Поезд Москва – Кёльн – Париж, ...декабря 1985 года. Женщины, собаки и экстрасенс Куприн	19
Бонн, ...февраля 1985 года. Ганс Беккер критикует Карла Маркса и рассказывает удивительные вещи	25
Москва, тот же день. Лера Старосельская бьет по лицу Гавриила Дьякова	31
Бонн, вечер того же дня. Застолье с профессором	37
Москва, ...мая 1986 года. Выстрел в живот	44
Бонн, ...апреля 1985 года. Зашифрованный портрет	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# Максим Теплый

## Архив Шевалье

### От издательства

Читатель уже знаком с феерическим бестселлером Максима Теплого «Казнить Шарпея».

Перед вами новый роман, который объединяет с предыдущим главный герой. Только в этот раз события происходят двадцатью годами раньше.

На страницах книги разворачиваются две сюжетные линии: одна – это головокружительный детектив, события которого происходят в Бонне в середине 80-х годов, и по законам жанра развязка почти до последней страницы остается скрытой от читателя; другая же отражает бурные политические события периода советской перестройки.

Определить жанр этого повествования мы не беремся. Скажем только, что слово «шок» не самое сильное, чтобы передать наши эмоции: здесь есть от чего содрогнуться и чего устыдиться, над чем расхохотаться и от чего погрузиться, а в итоге – задуматься и сказать самому себе: «Уж не про меня ли это?! Не я ли стою в толпе на Манежной площади? Не я ли, вприпрыжку от нетерпения, бегу приветствовать нового мессию, а потом стыдливо прячу глаза, так как очередной король оказался голым?»

Есть над чем поразмышлять! И есть за что упрекнуть автора, который нарочито выпячивает свою субъективность и дразнит каждого из нас.

Но гарантируем – скучно не будет!

*В этой книге нет ни одного вымышленного персонажа.*

*Все герои имеют своих реальных прототипов.*

*Автор*

*Я мечтаю, чтобы их рвало, когда они будут узнавать себя в героях этой книги. Рвота – отличное средство для очищения закоулков головного мозга!*

*Адольф Якобсен. Умри вчера, Магда*

## Поезд Париж – Кёльн – Москва, ...ноября 1986 года, 4 часа утра

Проводник спал, сидя за столом. Его седая голова, опущенная на крупные морщинистые ладони, покачивалась в такт ударам колес. Дверь в купе была приоткрыта, и Каленин невольно задержался.

«Во дает! – подумал он. – Только что сидел с нами, и вот уже спит как младенец. Сам же говорил, что быстро пьянеет... Зачем тогда пил?...»

Каленин прошел дальше и закрылся в туалете. Он тщательно побрился и энергично растер лицо лосьоном «Огуречный», которому не изменил, несмотря на то что выбор косметики в Германии поначалу его просто ошеломил. «Ну вот! Вид, кажется, вполне торжественный, достойный пересечения границы!» Въезд на территорию Польши означал, что он фактически уже дома: всего каких-нибудь двенадцать часов пути – и уже Москва.

Он еще раз критически осмотрел себя и неожиданно отметил, что год, проведенный за границей, наложил на его внешность заметный отпечаток. В облике читалось что-то неуловимо западное. Ну конечно: вельветовые джинсы, белоснежные кроссовки фирмы «Пума», элегантный кашемировый джемпер... Откуда в Союзе такие ладные шмотки?

А может быть, дело в прическе, которая по советским меркам чересчур смела? «Точно! – подумал Каленин. – Надо будет подстричься». Длинные выющиеся вихры, имевшие от природы необычный, почти платиновый цвет, запросто могли вызвать недовольство университетского начальства. Хотя за год много воды утекло. В стране перестройка, и, по слухам, свободы стало намного больше.

Каленин двинулся назад и снова оказался напротив спящего проводника. Картина не изменилась. Гаврилыч сидел в той же позе, мелко вздрагивая седой шевелюрой.

Каленин сделал еще пару шагов в сторону своего купе и вдруг остановился как вкопанный. Что-то в увиденной только что картине его насторожило.

«Нога! Ну да! Нога у него как-то неестественно подогнута. Обычно, когда спит, человек устраивается поудобнее. А тут... Не случилось ли чего?»

Он вернулся и, осторожно ступая, подошел к спящему. С каждой секундой на душе становилось все тревожнее.

– Спишь, Гаврилыч? – негромко произнес Каленин. – Граница скоро... – Он тронул проводника за плечо и резко отдернул руку. Легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы ноги сидящего за столом подломились и он сполз вниз. Все тело оказалось под столом, и только седая голова, будто зацепившись за что-то, осталась лежать на нижней полке.

«Да он же мертв!» Каленин впервые в жизни оказался один на один с покойником, и его охватило единственное желание – бежать подальше. Тем более что всего каких-то четверть часа назад он весело балагурил с покойным.

Каленин бросился к своему купе и с удивлением обнаружил его пустым – попутчик отсутствовал. Он стал стучать в соседнюю дверь и тут же вспомнил: Гаврилыч говорил, что они с соседом по купе поедут одни во всем вагоне. Была еще супружеская пара, но проводник убедил их перейти в соседний вагон.

Каленин побежал к тамбуру.

«Должны же где-то быть люди. И врач, наверное, есть... Какой врач! Врач уже точно не нужен. Разве что зафиксировать смерть. Похоже, сердце...»

Каленин нажал на запорную ручку и дернул дверь, ведущую из тамбура в соседний вагон. Дверь не поддавалась.

«Что за черт!»

Он сделал еще одну попытку, но тут же понял, что дверь заперта на ключ.

«Ерунда какая-то! Может, Гаврилыч закрыл? Бедняга... Ключи наверняка у него... Так... надо в другую дверь».

Каленин бегом пробежал через весь вагон в противоположный тамбур и с удивлением, перерастающим в тревогу, обнаружил, что эта дверь также не поддается.

Вагон был заблокирован с обеих сторон...

«Так, а где же сосед по купе? Ну да, конечно, здесь, в туалете. Сколько же он там сидит... Надо ему скорее сказать про проводника... И про дверь заодно!»

– Эй! Вы там живы? – Каленин осторожно постучал. – Беда у нас...

Ответа не последовало. Он осторожно толкнул дверь и убедился в том, что туалет пуст.

«Чертовщина! Где же он? Что вообще происходит? Надо набраться мужества и взять ключи у покойника. В кармане, наверное... И скорее выбираться из вагона! Куда мог исчезнуть из запертого вагона человек?...»

Каленин не успел додумать мысль, которая будто бы замерзла в голове, как вдруг увидел, что прямо напротив открытой двери, ведущей в его купе, стоят двое мужчин. Все остальные двери были закрыты, и поэтому эти двое оказались в единственном ярком световом пятне на фоне полутемного коридора.

«Ну да! Точно! Это наше купе, – холодея спиной, подумал Каленин. – Только откуда там два человека? Один – понятно, это сосед. Его легко узнать по фигуре и породистой осанке. Господи! Он пьян в стельку! Отсюда видно, как его мотает... А кто рядом? Этот низкорослый – откуда он взялся? Тот, что стоит спиной? Они что, все это время, пока он бегал по вагону, сидели в одном из пустующих купе?...»

Каленин, еще не очень понимая, почему ему так страшно, двинулся по вагону и вдруг услышал голос незнакомца, который, не поворачиваясь, произнес:

– А мы вас ждем, Беркас Сергеевич! Хватит уже бегать да за дверные ручки дергать! Отбегались вы, милейший! Рассчитаться бы надо...

Каленин буквально прирос к полу, догадавшись, кому принадлежит этот характерный голос.

Мужчина медленно повернулся, и Каленин, как на бандитскую заточку, натолкнулся на тускловатый отблеск его маленьких глаз, полуприкрытых сверху нависающими тяжелыми веками и готовых вот-вот провалиться вниз, в огромные синеватые мешки...

## Москва, ...марта 1985 года. Попытка заговора

Промозглым мартовским вечером по московской улице, названной в честь болгарского патриота-интернационалиста Георгия Димитрова, в сторону бывшей Калужской заставы, сверкая черными вздутыми боками, мчался автомобиль «Чайка». Редкие пешеходы, зябко прятавшие носы в поднятые воротники, могли заметить, что это было уже не первое представительское авто, двигавшееся из центра в сторону недавно отстроенной гостиницы ЦК КПСС «Октябрьская».

Правительственные лимузины, метко и зло прозванные в народе «членовозами», появлялись на московских улицах вовсе не так часто, как это могло подуматься человеку несведущему. Их было всего-то штук двадцать на всю необъятную державу. Дело в том, что монументальные «ЗИЛы», снабженные уникальной системой защиты от опрокидывания и обладавшие выдающейся плавностью хода, полагались только членам Политбюро и секретарям ЦК КПСС, а министры и прочие функционеры, вопреки расхожему мнению, ездили вовсе не на лимузинах, а на черных «Волгах». Так же как и первые секретари обкомов и крайкомов, поскольку ЦК КПСС выделял своим региональным организациям денежные лимиты согласно строго расписанной номенклатуре товаров, начиная от канцелярских кнопок и кончая автомобилями – главным образом «Волгами» и «уазиками».

Что же касается устаревших «Чаяк», то они выезжали из гаража особого назначения – сокращенно ГОН – только в дни крупных партийных мероприятий. На них ездили по Москве партийные руководители союзных республик и секретари некоторых обкомов, сумевшие заручиться благосклонностью всемогущего заведующего Управлением делами ЦК КПСС Николая Лучины.

В тех нескольких автомобилях, что один за другим солидно миновали шлагбаум строго охраняемой гостиницы, находились именно такие влиятельные партийцы. Все они прибыли на пленум ЦК, экстренно созванный в связи со скоропостижной кончиной генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Жили все на одном этаже, каждый в том номере, в котором останавливался прежде. Это считалось особым шиком – каждый раз добиваться размещения в привычных апартаментах. Для этого их вездесущие помощники заводили знакомства с дирекцией гостиницы, администраторами, не гнушась общения с дежурными по этажу и даже вездесущими горничными.

Персоналу гостиниц везли в подарок зимние шапки, дорогие коньяки и продовольственные наборы. Правда, в последнее время, когда дефицит самых ходовых товаров стал явлением повсеместным, горничным уже дарили сувениры попроще – к примеру комплект различных сортов мыла, включая особо дефицитное, «Хозяйственное». Дежурным по этажу и администраторам подносили коробки шоколадных конфет или давно исчезнувший с прилавков растворимый кофе. В заветном пакете могла оказаться также бутылочка болгарского или венгерского сухого вина.

Ну а директору и его заместителям по-прежнему вручались норковые шапки, колбасные наборы, немыслимо дорогие – ценой в двадцать пять рублей за крошечный флакончик – французские духи «Диориссимо», а также прочий дефицит, способный впечатлить серьезных людей, привыкших к достойным знакам внимания.

При этом все высокопоставленные постояльцы знали, что дежурная по этажу, деланно смущаясь, подарок, конечно же, примет и будет всячески демонстрировать готовность помочь в любой мелочи, но потом обо всем, что увидит и услышит, сообщит куда надо. Так уж повелось еще со сталинских времен...



В этот раз договорились встретиться в номере первого секретаря Краснодарского крайкома Бориса Беляева. У этой компании была традиция: собираться вечером перед партийным мероприятием, чтобы поговорить за жизнь.

Все четверо были почти одногодками – недавно разменяли полтинник, – уже давно занимали руководящие посты и считались в партийных кругах людьми весьма влиятельными.

Когда сели к столу, Фарид Мусин из Татарии повел носом и, приобняв краснодарского коллегу, сказал:

– Борис Нодарьевич, ты, похоже, уже гульнул где-то? Я запах коньяка за версту слышу. Молдавский пил?

Беляев медленно повернул голову в его сторону и тряхнул густой роскошной шевелюрой, которая, вопреки строгим канонам того времени, была непозволительно длинной. Только немногие посвященные знали, что у Беляева не было одного уха. Точнее сказать, оно было, но выглядело как волосатая розовая гусеница, прицепившаяся к черепу в том месте, где должна была быть ушная раковина. Этот дефект Беляев маскировал при помощи прически, и делал это так мастерски, что и сам стал забывать тот злосчастный день, когда он – молодой деревенский парень – не поделил с приятелем подругу во время танцев в клубе, а тот подстерег его ночью возле дома да и шарахнул из охотничьего ружья в спину. Большая часть дробового заряда прошла слева от головы, но несколько дробинок пробили плечо, одна зацепила шею, а вот уху не повезло – оно фактически отлетело и превратилось в рваные бесформенные ошметки.

В больницу Борис по горячности идти наотрез отказался. Ухо, или, точнее, то, что от него осталось, срослось как попало. Тогда-то и стал носить будущий партийный лидер необычную прическу, которая ему очень шла и делала объектом воздыханий бесчисленного количества женщин...

Эта прическа, как ни странно, побудила Беляева запеть в опере. Он от природы обладал приятным голосом и отменным музыкальным слухом, запросто мог повторить любую оперную партию, услышав ее по радио или на грампластинке. Новая прическа добавила Борису артистического лоска, и он, вняв совету своего школьного учителя по физкультуре – большого поклонника оперного искусства, – без особых колебаний согласился поучаствовать в самодеятельной постановке оперы «Евгений Онегин», где ему досталась партия Гремина.

Постановка имела оглушительный успех. Самодеятельный коллектив был приглашен в Москву для участия во всесоюзном конкурсе, где стал лауреатом, а Беляев получил поощрительный приз жюри и премию в размере ста рублей. После этого Борис, к удивлению многих, занялся вокалом всерьез и, вплоть до перехода на высокую партийную должность в обком партии, с неизменным успехом пел на любительской сцене. Особенно удавалась ему партия царя Бориса...

– ...А ты что, Фарид, из партконтроля, что ли, чтобы мое выпитое считать? – мрачно огрызнулся Беляев и примирительно добавил: – С Грушиным встречались. Пообедали вместе, завтрашний день обсудили. Часа два просидели... А с коньяком ты ошибся, Фарид: французский пили, «Наполеон», – со значением подчеркнул Беляев и после паузы добавил: – Грушин с вами просил переговорить.

Тут надо заметить, что обмен мнениями о коньяке носил далеко не формальный характер. В 80-е годы прошлого столетия хорошими коньяками в СССР считались выдержанные напитки, произведенные в Молдавии, Армении и Дагестане. Про «Хеннесси», «Мартель» или какой-нибудь там «Реми Мартен» никто, включая участников застолья, слухом не слыхивал. Поэтому попадавший в Москву всякими окольными путями «Наполеон», производимый в Югославии из весьма посредственных коньячных спиртов, принимали за настоящую Францию. Напиток этот был много хуже пятирублевого болгарского бренди «Плиска» и не шел ни в какое сравнение с хорошими молдавскими коньяками. Но, в силу устойчивых предрассудков

по поводу уникальных свойств французского алкоголя, югославская подделка попадала на стол даже высокопоставленных персон.

Беляев помолчал и внушительно повторил:

– Грушин, говорю, хочет завтра на пленуме бой дать!

Все насторожились.

– И что? – вкрадчиво спросил орловский первый Егор Маршев. Он казался намного старше своих пятидесяти лет, был по-особому сутул и все время пожимал плечами, отчего шея постоянно погружалась куда-то в недра пиджака.

– А то! – Беляев встал, посмотрел сверху, наполнены ли у всех рюмки, потом взял свою и опрокинул ее в фужер, который затем дополнил до краев. Медленно, в одиночестве выпил. Постоял, прислушиваясь к движению жгучей жидкости по пищеводу, дождался, когда жжение утихнет, и напористо повторил: – А то! Сначала выпейте! Разговор будет серьезный.

Вадим Минайлов, плечистый красавец, скрывающий активно пробивающуюся лысину при помощи хитроумного распределения по черепу редких светлых прядей, отпил глоток, поморщился и раздраженно спросил:

– А на трезвую голову нельзя?

– Нельзя! – спокойно возразил Беляев. – На трезвую хорошо в шахматы играть. А тут – как в атаку подняться! Лучше после ста грамм!

Он подошел к двери номера, выглянул и зычно произнес в пространство, удовлетворенно отмечая, что эхо усиливает значимость его и без того мощного баса:

– Стойте здесь! Чтобы на расстоянии выстрела ни души возле этих дверей! Поняли?!

Затем вернулся к столу и буднично произнес:

– Короче: Громыко<sup>1</sup> двигает в генсеки Мишу Горбачева.

– Значит, все-таки Горбачев! – разочарованно хлопнул себя по коленям Маршев. – Я думал – пронесет.

– Грушин вне себя от ярости, – продолжил Беляев. – В союзники зовет и обещает, что, в случае успеха, мы будем включены в состав высшего руководства страны. Вы, все трое, в секретари ЦК пойдете! – Беляев помолчал, ожидая вопросов. И поскольку все молчали, добавил: – Ну и мне тоже что-то предложат. Возможно, Москву...

– Понятно, – задумчиво протянул Мусин. – А кто ему сказал, что я, к примеру, в секретари хочу? Мне и в Казани хорошо. Да и врет твой Грушин... – Мусин насмешливо взглянул на Беляева. – Небось не одному тебе должность обещает. На всех все равно не хватит... – Он глубоко затянулся папиросой, которую минуту назад достал из коробки, украшенной изображением златовласой восточной красавицы. Коробку эту некурящий Минайлов уже несколько раз брал в руки и внимательно рассматривал, потом раздраженно отбрасывал, будучи не в состоянии сообразить, какая связь между золотыми косами татарской дивы<sup>2</sup> и табаком...

– Тут другое надо понять! – продолжил Мусин, придвигая к себе папиросы. – С какой стати именно тебя Грушин позвал на этот разговор? Кто его уполномочил должности раздавать? Кто из членов Политбюро и ЦК на его стороне? Может, он нас на прочность проверяет? А?

– Странно все это! – поддержал Мусина Минайлов. – Громыко не станет бой начинать, если не знает, как его выиграть. Ты так не считаешь, Борис?

Беляев смутился.

– Грушин рассчитывает на поддержку некоторых членов Политбюро, – неуверенно пояснил он. – Говорит, что несколько человек из Политбюро на его стороне. Никонов, например...

---

<sup>1</sup> Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) – видный советский политик, общественный деятель. Во время описываемых событий был наиболее авторитетным членом Политбюро ЦК КПСС и министром иностранных дел. – *Здесь и далее примеч. ред.*

<sup>2</sup> Видимо, имеются в виду папиросы «Алтынчеч», выпускавшиеся в то время в Казани.

– Никонов? – удивился Мусин. – Вот уж точно вранье! Мы же с ним земляки, и я от него самого знаю, что это он Горбачева рекомендовал на должность секретаря по селу. Никонов будет на стороне Громыко! Это точно! Что-то не вяжутся у тебя концы с концами.

– Грушин намерен заручиться поддержкой большинства участников пленума и добиться альтернативного голосования, – настаивал Беляев. – Он уверен, что в этом случае пленум поддержит его, а не Горбачева.

– А вот тут он прав! – согласился Мусин. – Грушина не любят, но Горбачева не любят еще больше. Если у участников пленума будет выбор, Горбачев проиграет. Любому проиграет! Только где ты видел альтернативное голосование в нашей партии? Кого двинут, тот и генсек...

– По мне, так пусть кто угодно, только не Горбачев! – Беляев даже встал от волнения. – Этому нарциссу надо в цирке шпрыхшталмейстером работать, – с трудом выговорил он длинное и заковыристое слово и, увидев удивленно-вопросительное выражение лица Минайлова, уточнил: – Должность такая в цирке. Вроде конференсье. Ему надо клоунов объявлять, а не страной руководить! Валить надо Мишку!

– Погоди, Борис! – решительно вмешался Минайлов. – Куда ты нас гонишь? Ну да, я не люблю Горбачева – это правда! А кто его любит, выскочку этого? Но воевать с Громыко – это все равно что против ветра писать! – Минайлов осторожно потрогал волосы, как бы проверяя, не открылась ли тщательно скрываемая лысина, что, в сочетании со словами про ветер, выглядело очень комично. – Чего мы добьемся своим геройством?

– Должности через неделю потеряем, вот чего мы добьемся! – откликнулся Маршев.

Беляев недобро стрельнул на него глазом и напористо предложил:

– Давайте-ка выпьем. Для куража! А то смотреть на вас противно... В политике кураж – главное дело! – Он быстро наполнил рюмки и снова, не дожидаясь остальных, резко опрокинул свою. Потом вопросительно обвел всех взглядом и недоуменно спросил: – Ну?! А вы? Я один, что ли, пить должен?

Стало заметно, что он пьянеет. Участники застолья молча выпили, так как знали правило: не хочешь пить – не садись за стол с Беляевым. А уж если сел – пей, иначе рискуешь нарваться на неприятности.

– То-то же! А то не по-русски получается. Так, Фарид? – Беляев мрачно посмотрел на Мусина, ожидая, что тот разовьет национальную тему. Но тот вызов не принял и, не обращая внимания на беляевский сарказм, развил мысль Минайлова:

– Я согласен с Вадимом. Громыко всегда был хитрее и мудрее всех... Сталинская школа! Раз он за Горбачева, значит, знает, как побеждать! С нами или без нас – но сценарий победы уже написан... А коли так, надо быть в стане победителей...

– ...и даже выступить, если дадут такую возможность, – вставил Маршев. – Вот ты, Вадим, – повернулся он к Минайлову. – Ты у нас самый видный. Давай-ка готовь прочувствованную речь...

– Так, значит?! – перебил его Беляев и насупился. – Сами же в один голос твердите, что он не годится в генсеки, а хотите речью его поддержать! Как это понимать? А где совесть ваша партийная? Где ленинская принципиальность. А?

– Ну, началось! – поморщился Минайлов. – «Ленинская принципиальность»! – передразнил он Беляева. – Какая, к черту, принципиальность? Одного только что схоронили, а Грушин всего на три года младше. Хватит уже мир смешить! Четвертые похороны страна не вынесет... Люди уже не плакать, а смеяться станут!

Беляев насупился и вдруг грохнул кулаком по столу так, что почти полная рюмка Минайлова подпрыгнула и большая часть янтарной жидкости выплеснулась ему на брюки.

– А брюки мои при чем, Борис?! Чего ты буйствуешь? Хочешь – тащи своего Грушина! А нас уволь. Мне еще область подымать. А для этого деньги нужны. Я готов хоть за черта лысого проголосовать, лишь бы дали...

– Точно, что за лысого! Да за деньги... – отозвался Беляев и вдруг истерично заорал: – А ну валите отсюда, тусы! Лизоблюды! – Он рванул на себя скатерть, которой был накрыт стол. Посуда и закуска с грохотом полетели на пол.

В дверях номера тут же возник рослый перепуганный человек в штатском и кинулся к Беляеву:

– Что случилось, Борис Нодарьевич?

– Все вон! – бушевал Беляев. – И ты тоже, опричник хренов! – Он сделал шаг в сторону растерявшегося помощника, отчего тот неожиданно ловко для своей нешуточной комплекции отскочил назад за дверь. – Родину продаете! – вращал Беляев глазами. – Партию! Народ свой!! Ленина!!!

Мусин, никак не реагируя на беляевскую истерику, молча поднял с пола бутылку коньяка, взял свою рюмку и, посмотрев на свет, плеснул в нее немного напитка. Потом процедил сквозь зубы:

– Что «Наполеон», что молдавский – все одно меру надо знать. Пошли, мужики. А ты проспись, Борис. Эх тебя колбасит! Сердце побереги! – Мусин усмехнулся. – А то не дотянешь до той светлой поры, когда тебя на Москву призовут. Здоровья не хватит...

Он мелкими глотками опустошил рюмку и направился к выходу. За ним двинулись остальные...

Спустя пятнадцать минут в номере Беляева загрохотал телефон правительственной связи. Беляев, который вдруг посвежел лицом и выглядел абсолютно трезвым, бросил помощнику:

– Послушай!

Тот снял трубку и тут же, закрыв ее рукой, прошептал:

– Грушин...

Беляев легко поднялся с кресла и подошел к телефону.

– Все слышали, Виктор Иванович? – спросил он не здороваясь и, дождавшись ответа, добавил: – Да, хорошая штучка, раз вы все в деталях знаете. Теперь без вашего строгого ока и в туалет не сходишь! Да уж! Перестарался, говорите? В каком смысле?... Ну должен же я их был как-то вытянуть на откровенный разговор? Вот и придумал кое-что по мелочи... Да не сердитесь вы, Виктор Иванович! Никто же не знает, а они никому не скажут, потому что никто им не поверит. И потом, вы же сами попросили их прощупать... Ну хорошо, простите неразумного. Про ваши намерения стать генсеком – это я лишнее на себя взял. Но иначе они бы не стали со мной откровенно разговаривать... Да, Виктор Иванович! Вы же знаете, это моя позиция! Если что надо – поручайте, я всегда ваш!.. До свидания!

Беляев положил трубку и бросил куда-то в пространство:

– Нашел дурака! – Он повернулся, отыскал глазами помощника и буркнул: – Соедини-ка меня с Горбачевым!

Беляев в задумчивости ходил за спиной помощника, пока тот не протянул ему трубку:

– Горбачев...

– Михаил Семенович! Это Беляев. Все как договаривались. Сначала, как вы и предполагали, упрямылись, но потом согласились с моими аргументами. Да, все трое! Кто дольше других? Мусин! Как вы и предполагали! Этот, конечно, сопротивлялся. Он, помимо Грушина, еще Никонова предлагал. Ну да, Никонова! Земляк, говорит! Но я его тоже убедил. Что? Это вам решать, Михаил Семенович! Предложите – возьмусь за Москву! До завтра! Спасибо за доверие.

Беляев опустил трубку и крикнул помощнику.

– Саша, меня нет! Будет звонить Грушин – не соединяй! Этих долбаё... тоже не пускай! Скажи, выпил лишнего. Спит, мол...

## Десять минут спустя... Горбачев и Грушин

Виктор Иванович Грушин вторично звонить Беляеву не собирался. Помощник, проработавший с ним много лет, привычно подал ему тяжелое пальто из толстого драпа. Виктор Иванович несколько раз обмотал вокруг шеи мохеровый шарф, на голову надел каракулевый «пирожок» – теплую шапку, по форме напоминающую солдатскую пилотку. Помощник заботливо поправил начальнику шарф и бросил охранникам:

– Смотрите, чтобы Виктор Иванович ноги не промочил!

В сопровождении охранников Грушин вышел из здания Московского горкома на скудно освещенную Старую площадь и медленно двинулся в сторону площади Дзержинского. Зрелище это было, прямо скажем, необычное: тихо бредущий по улице всемогущий первый секретарь Московского горкома, прикрывающий лицо ладонью от пронизывающего холодного ветра.

Идти было всего метров триста. Грушин не спеша вошел в центральный подъезд здания ЦК КПСС, миновал удивленную охрану, с которой кинулись объясняться сопровождавшие его парни в штатском, и, к еще большему удивлению всех, тихо сказал:

– Дальше не надо со мной. Я сам тут разберусь...

Он поднялся на лифте на пятый этаж. Дежурный офицер узнал его и козырнул. В сторону пустующего кабинета скончавшегося генсека Грушин не пошел, а повернул в противоположную сторону. За поворотом, возле еще одного поста, его ждал невысокий человек в очках, который первым протянул Грушину руку и сказал:

– Михаил Семенович уже ждет вас!

– Здравствуйте, Валерий Иванович! – отозвался Грушин, стягивая перчатку и пожимая протянутую руку. – Похвально, что вы сегодня здесь, рядом с Михаилом Семеновичем. Он нуждается в нашей поддержке...

...Запись, которую воспроизводил крошечный, диковинный для того времени прибор, слушали втроем: Грушин, Горбачев и Валерий Иванович Болдырев – заместитель главного редактора газеты «Правда». Как ни странно, звук был достаточно сильным, а голоса – вполне узнаваемыми. Вот Беляев, вот насмешливый Мусин, а вот сипловатый голос Маршева.

Горбачев напряженно вслушивался в их разговор и с каждой секундой мрачнел. После того как в кабинете прозвучал грозный рык Беляева: «Все вон! Родину продаете!» – Горбачев хлопнул пухлой ладошкой по столу и резко бросил:

– Хватит!!! – И тихо добавил: – Подонок! Мразь! Ну, я ему этот спектакль припомню! Спасибо, Виктор Иванович! Просветили!

– Не за что! Там дальше послушайте, наш с ним телефонный разговор. Он там прямо говорит, что про меня все придумал, мерзавец. Послушайте! И тогда окончательно убедитесь, что я против вас никакой игры не веду!

– Да бросьте вы! Я с самого начала это знал.

– Ну, это вряд ли! Доброхотов много. Небось всякого про меня наговорили. А я вам – вот эту пленочку. Для верности! И вы, конечно же, поняли, что Беляев все переврал! Я его попросил только мнение остальных прошупать, а он тут про меня целый детектив придумал.

– А эти тоже хороши! – вмешался в разговор Болдырев. – Я про Мусина с компанией.

– Да нет, Валерий Иванович! – возразил Горбачев. – ЭТИ, как вы выразились, самые надежные люди. Они циники и встали на мою сторону потому, что хотят быть в команде победителей. Если бы они начали клясться мне в любви, я бы заподозрил недоброе. А так – все нормально. Будут преданно служить, пока я не упаду! А уж если начну падать, так мне их преданность ни к чему. В нашей партии еще случая не было, чтобы кто-то помогал споткнувшемуся. Добить – это пожалуйста! И эти добьют с удовольствием! Но пока я во главе стаи, будут

ступать след в след! Как волки! А вот Беляев... Этот... – Горбачев сжал кулаки, – этот будет у меня катиться вниз, пока не дослужится до «Кушать подано!» в нашем буфете! Я ему покажу шприх... мистера! Как он там меня обозвал?

– Шпрехшталмейстером, – потупив глаза, пояснил Болдырев.

– А я так и не понял, кто это? – поинтересовался Грушин.

– Что-то вроде конференсье в цирке... – совсем тихо уточнил Болдырев.

– Обидно! – согласился Грушин. – Ну, я пойду... Вы, Михаил Семенович, поосторожней с Беляевым. Его наскоком не возьмешь. Помяните мое слово: вы с ним еще хлебнете лиха! Лучше сразу добейте. Если он в силу войдет, трудно вам будет! Конкурентом станет. Этот ни перед чем не остановится...

– Стану генсеком, вот ему... – Горбачев хлопнул ладонью левой руки по локтевому сгибу правой. – Вот ему! Он у меня и в Краснодаре не усидит! А Москвой вы будете руководить! Как и сегодня! Обещаю...

– Ну-ну! – Грушин печально усмехнулся. – Бог в помощь... в смысле пусть поможет вам всепобеждающая сила марксизма-ленинизма.

Он вздохнул и, не прощаясь, шаркающей походкой вышел из кабинета...

## Часом позже... «Этот не утонет!»

В знаменитом на всю страну гастрономе номер 1 – или, как его еще называли, Елисеевском – в очереди в кондитерский отдел стояла молодая женщина, одетая в длинную каракулевую шубу, которая смотрелась бы нелепо на абсолютно бесснежных московских улицах, если бы не холодный мартовский ветер... Женщина как женщина... Про таких говорят: в самом соку. Весьма симпатичная, с ухоженным лицом. Странность была только в том, что она разговаривала сама с собой, высоко поднимая голову и обращаясь куда-то вверх. Не сразу было понятно, что она что-то говорит в затылок высокому дородному мужчине, который стоял в очереди перед ней. Даже соседям по временному и весьма тесному человеческому обществу, каковым в данный момент и являлась тяжело дышащая очередь, было не разобрать слов, которые женщина говорила ухоженному мужскому затылку. А даже если кто-то и расслышал бы сказанное, то ничего бы не понял.

– Я только через полчаса туда попала...

Затылок едва заметно качнулся вперед.

– А лампу-то он переставил. Еле сняла...

Затылок снова дернулся.

– Но никто ничего не заметил. Кладу в правый карман... Конфеты брать будете? Сегодня «Стратосферу» завезли...

Затылок пошел вбок. Появился симпатичный мужской профиль с чуть отвисшими щеками, которые, впрочем, лицо не портили. Мужчина обернулся и громко, чтобы все слышали, сказал:

– Женщина, я стоять не буду – на поезд опаздываю. Занимайте мое место...

Мужчина вышел на улицу Горького и замахал рукой. Перед ним затормозила выдавшая виды «Волга» с потертыми черными квадратами вдоль борта.

– До Ленинградского вокзала подбросите? На поезд опаздываю...

– Три! – раздалось из салона.

– С ума вы все посходили! От Горького до трех вокзалов – три рубля! Раньше за эти деньги два часа по всей Москве возили да еще сдачу давали.

– Не хотите – ждите другого. Но дешевле никто не поедет. Такса.

– Ладно! Пейте кровь мою, кровососы гнусные. – Мужчина нырнул на заднее сиденье.

– Не понял! – угрожающе обернулся в его сторону таксист. – Гнусный – это кто?

– Да это из Высоцкого, – успокоил пассажир. – Поехали!

Такси двинулось в сторону Садового кольца, но не прошло и минуты, как пассажир неожиданно произнес:

– Я передумал... Все равно уже опоздал. Давайте к кинотеатру «Россия» – если можно, прямо ко входу...

– Э-э, товарищ! Так дело не пойдет. Я на короткие дистанции не бегаю. Кто...

– ...деньги будет платить? – перебил странный пассажир. – Я, конечно! Вот держите: трешка, как договаривались. Я здесь выйду...

Мужчина шагнул из машины навстречу ветру и надвинул на глаза меховую кепку, которая мгновенно покрылась бисером мелких, едва видимых капель.

– ...То ли снег, то ли дождь... одно слово – пакость, – раздраженно буркнул он себе под нос и быстро, почти бегом, бросился внутрь ярко освещенного вестибюля.

До начала последнего сеанса в малом зале кинотеатра оставалось буквально несколько минут. Мужчина достал из кармана заранее купленный билет, вежливо кивнул грозной билетерше и скрылся в полутемном зале. Зрителей было совсем немного. Фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» был снят почти десять лет назад и иногда повторно шел на

малых экранах. В зале находились в основном редкие молодые парочки, выбравшие последний сеанс для уединения в темном зале.

Мужчина, не глядя на билет, уверенно двинулся в сторону одного из последних рядов и уселся рядом с очень пожилым седовласым зрителем, который опирался подбородком на рукоятку трости и дремал в полном одиночестве.

Погас свет, и пожилой, не открывая глаз, тихо, но очень отчетливо произнес:

– Хороший фильм. Третий раз смотрю. Самые хорошие фильмы снимают именно у нас, в СССР. – Он почувствовал, что его утверждение вызвало у собеседника усмешку, и добавил: – Говорю это абсолютно искренне и, как вы понимаете, со знанием дела. Перевоплощения – это моя давняя страсть...

– Просто это утверждение именно в ваших устах выглядит... как помягче сказать... странно, что ли, а можно сказать, даже смешно.

– Ну почему же? Объективность – это инструмент любого добросовестного исследователя.

– А что же американское кино? Великий Голливуд?

– Scheiße<sup>3</sup> ваше американское кино. Да и все остальное... американское. Только это красивое слово из моего родного языка можно поставить в один ряд с замечательными русскими оборотами, которыми выражается мое отношение ко всему американскому.

– И Френсис Коппола? Он тоже это ваше замечательное немецкое слово? Его «Новый апокалипсис», к примеру?

– И он тоже! В этом фильме самое замечательное – это музыка Вагнера. А он, как известно, был немцем!..Принесли? – спросил пожилой.

Второй участник беседы непонимающе переспросил:

– Что? – Он не почувствовал резкой перемены беседы, которая скакнула в другую сторону.

– Я говорю, с вами то, что мне нужно?

– Ах да! Конечно!

– Слушали?

– Не успел. Дежурная по этажу только что передала «жучка», в «Елисеевском». Там такая давка за конфетами...

В зале неожиданно раздался странный, нарастающий по силе звук. Это один из героев фильма в исполнении актера Олега Табакова изображал свадебный крик марала. Пожилой прыснул и затрясся от смеха.

– Умора! – зашелестел он своим сипловатым голосом. – Люблю Табакова! Сильный актер. Кота хорошо играет... и Ленина.

– Кота?

– Ну да! Матроскина... Американцы сделали ставку на Горбачева. Знаете почему? – опять резко сменил тему разговора пожилой.

– Догадываюсь...

– Вряд ли догадываетесь. – Пожилой наконец открыл глаза и повернулся к собеседнику, лицо которого мертвенно бликовало отблесками экрана. – У американцев никогда не было сильных аналитиков. Таких, к примеру, как я. А те, что есть, считают только на один шаг вперед. – Старик замурлыкал какую-то мелодию, пытаясь попасть в такт с музыкой, которая сопровождала фильм. – Вся их так называемая советология – это перепев моих работ. Ничего нового, сплошной плагиат.

– Если бы они знали, с кого списывают, вот уж удивились бы. А может, и перепугались...

---

<sup>3</sup> Дерьмо, испражнения, навоз (нем.).



– Они списывают с Бруно Майсснера – известного на весь мир ученого. Другое дело, что они не догадываются, что этот псевдоним принадлежит мне.

– Я и говорю, подивились бы... Где Бруно Майсснер и где вы – скромный учитель немецкого языка из Тарту.

В ответ на эту реплику старец удовлетворенно заулыбался в экран.

– Я от природы очень тщеславен, – продолжил он. – А к старости мое тщеславие выросло до невероятных размеров. Недавно мне в руки попала книжка одного, с позволения сказать, ученого – кажется, из Уфы. Книжка пустая, как все, что называется «критикой буржуазной советологии». Но представьте, чуть ли не на каждой странице цитируются мои работы. Я имею в виду работы Бруно Майсснера. Чертовски приятно... Горбачева американцы видят наиболее удобным партнером для продвижения своих интересов, – опять вернулся к новому генсеку разговор, – и не замечают настоящего разрушителя, богатыря, который не побоится поставить автограф на руинах советской империи. Вы улыбаетесь? А я, кажется, его вычислил! – Старик радостно потер морщинистые ладошки. – Этот краснодарский парень еще удивит весь мир, поверьте мне! У Беляева инстинкт власти. Нам надо знать об этом человеке все, слушать его каждый день, по возможности записывать на киноплёнку его хождения и внедрять в его окружение своих людей...

– Вы так в нем уверены? В смысле его возможностей заменить Горбачева?

– Я интересовался его психотипом у классных специалистов. Они поехали в Краснодар, посмотрели за ним неделю и сделали вывод: паранойя, очень схожая со сталинским вариантом. Этот пойдет по головам! Если надо, человечину станет есть, но своего добьется! Я напишу о нем книгу, и это будет мировая сенсация!

– Рисковый вы человек, товарищ Рейльян! – без тени восхищения, а, напротив, с раздражением сказал собеседник. – Двадцать лет я терплю эту историю с вашим Майсснером. И черт бы с вами и с вашими научными амбициями! Но ведь и моя голова на кону! Теперь вот этот Беляев! Когда вы уговоритесь только, Арнольд Янович...

– Никогда! – холодно откликнулся Рейльян. – Мы, немцы, люди системные и организованные. К тому же я солдат и буду вести свою войну до победного конца. Впрочем, вам этого не понять. Вы ведь все делаете за деньги. Надеюсь, по этой части у вас нет ко мне претензий? Ну вот и славно! – резко закончил он.

На экране главный герой фильма бежал к обрыву и, не сбавляя скорости, прыгнул.

– Не утонет! – хихикнул старик. – Он до воды не долетит. Умора!.. Беляев тоже не утонет. Он же яхтсмен, мастер спорта, плавает как рыба... Мы сделаем ставку на него. Хотите, поспорим, что он скоро сменит Горбачева?... Правильно, что не хотите. Не было случая, чтобы мой прогноз не сбывался! Да, кстати, лет через пять не станет и вашей Родины – Союза Советских Социалистических Республик! Что смотрите? Не верите? Давайте поспорим... Я об этом уже давно написал.

– Послушайте, Мессер, хватит кликушествовать! Все эти ваши прогнозы, этот ваш менторский тон... Я устал от вашего высокомерия. Что за глупости вы несете? Как это, не будет СССР?

– Во-первых, я сниму вас с довольствия, если вы еще раз назовете меня этим именем. Мессер погиб в сорок пятом... Ясно? Будьте любезны, называйте меня Арнольдом Яновичем. Или товарищем Рейльяном, если угодно!

Старик для верности больно ткнул собеседника тростью в носок ботинка.

– А во-вторых, что ж тут обижаться? На правду не обижаются, даже если она горькая. Так, кажется, говорил один забавный персонаж из вашего фильма?

Старик наклонился к уху собеседника и свистящим шепотом произнес:

– Твое дело служить, а не рассуждать! Еще раз ляпнешь что-нибудь подобное, я попрошу Луку вспомнить свои навыки. Пожалеешь, что на свет появился...

Старец встал и, не прощаясь, вышел...

## **Поезд Москва – Кёльн – Париж, ...декабря 1985 года. Женщины, собаки и экстрасенс Куприн**

Писать на узком столике в трясущемся вагоне было очень неудобно. Ручка прыгала, оставляя на бумаге пьяные каракули. Беркас ловил ритм ударов о рельсовые стыки и пытался предугадывать амплитуду раскачки поезда, но ничего не получалось. Вагон дергался хаотично и обманчиво, поэтому дешевая шариковая ручка стоимостью одиннадцать копеек жила своей собственной жизнью – абсолютно отдельной от руки, ее направлявшей.

Получалось смешно. Вместо слова «собака» вышло «содака», так как хвостик буквы «б» ушел в противоположную сторону. «Хвост собаки ушел на сторону», – мысленно пошутил Каленин, глядя на бумагу.

«Женщину» прыгающие буквы превратили в «трещину». «А что? Так и есть! Это трещина на судьбе! Разлом! – продолжал размышлять Каленин. – Разлом, разделяющий жизнь на «до нее» и «с нею». А потом еще непременно наступает «после».

...Задание не давалось. Да и полная чушь это задание! Только в лысую и упрямую голову профессора Балтанова могла явиться эта дурацкая идея – заставлять аспирантов заниматься сочинительством. Он задавал тему и просил раскрыть ее на одной страничке. В этот раз тема была та еще: «Собаки и женщины»!

Увернуться от задания не удалось. Балтанов был неумолим. Он мрачно выслушал сбивчивое сообщение Каленина о том, что длительная баталия по поводу его выезда в капстрану для многомесячной научной стажировки увенчалась успехом, и назидательно произнес:

– Вот и славно. Изложите свои мысли, пока едете в поезде, и вышлите по почте. А я вам пришлю свое мнение. Надеюсь, оно вам будет небезразлично?

Каленин обреченно кивнул: мол, конечно! Как же, Денис Абрамович!

А тот злорадно ухмыльнулся и добавил:

– Не надо так откровенно выражать свое недовольство. Не надо! Вы, товарищ аспирант, работаете над диссертацией, посвященной теории писательского мастерства. Вот и покажите, как вы сами владеете словом.

Дальше была прочитана короткая лекция, которую Каленин слышал раз сто. Слог очередного новомодного писателя Х... Балтанов определял как «скудословие», а образцом русского языка называл произведения великого Бунина, чей писательский талант возносил до уровня гениальности и непререкаемости.

Из-за назойливых нравоучений профессора писателя Ивана Бунина Каленин тихо ненавидел. Умом Беркас все понимал. И даже соглашался с Балтановым: трудно кого-то поставить рядом с Буниным в части свежести русского языка, его природного звучания и гармоничности... Но всякий раз, когда в его руках оказывался томик великого прозаика, он видел перед собой лысую голову Балтанова, после чего чтение произведений Бунина приносило ему настоящие физические мучения. С некоторых пор благодаря Балтанову Каленин просто перестал читать классика, точнее, перечитывать, так как все нужное уже было прочитано, а предаваться наслаждению от смакования уже некогда изведенного было выше его сил.

По мере постоянно возобновляемых назиданий профессора и восхищений Буниным неприязнь Каленина к великому прозаику усиливалась: ему и вправду стало казаться, что Бунин до оскомины вылизывает фразу и портит русский язык своим эстетским старанием. Он все чаще виделся Каленину стеклянным и скучным. Без куража, без нерва, без неправильностей вроде лермонтовского: «...и Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте,

ревел...»<sup>4</sup>. Гривастая львица, которую дотошный зоолог должен был бы поставить Лермонтову в упрек, нравилась Каленину куда больше, чем красоты Бунина. Но сказать об этом вслух он не решался. Балтанов мог бы от такого пассажи скончаться на месте. Поэтому Каленин, дабы побудить профессора поскорей завершить свою лекцию, угодливо вставил:

- Про Х... это вы, Денис Абрамович, точно заметили.
- А про Бунина? – угрожающе уточнил профессор.
- Иван Алексеевич Бунин – великий русский писатель! – дипломатично ответил Каленин. – У него в стихах есть нерв! Помните?

...И что мне будущее благо  
России, Франции! Пускай  
Любая буйная ватага  
Трамвай захватывает в рай<sup>5</sup>.

Очки Балтанова рухнули на кончик носа, и он озадаченно глянул на своего аспиранта.  
– Я не люблю стихи Бунина. В них он совсем не Бунин. То, что вы процитировали, не Бунин. Где вы это взяли, юноша?

- Денис Абрамович, это – Бунин. Эти строки у нас не публиковались.
- Что за странная манера выискивать какие-то нехарактерные цитаты? – раздраженно пробурчал он. – Это уже не в первый раз, Каленин! Где вы их берете? Одним словом, жду текст! И постарайтесь на этот раз! В прошлый было очень пресно и неубедительно...

«Самое прекрасное, что мне довелось испытать в жизни, – это любовь собак и женщин... – быстро писал Каленин, удивляясь собственному почерку. – Собаки любят легко и преданно. Женщины – тяжело и еще преданней. Собаки никогда не изменяют. Женщины изменяют всегда, а потом возвращаются и искупают свой грех вечной преданностью и тиранической любовью. Искупают даже те, что не возвращаются.

Все женщины, которых я любил, мне изменяли.

Их было всего три...»

Каленин задумался. Три? Нет, конечно. К двадцати четырем годам он успел жениться, произвести на свет сына, развестись под аккомпанемент грозных предупреждений из факультетского партбюро и университетского парткома, а после развода – прославиться несколькими бурными романами, которые широко обсуждались преподавательской и студенческой общественностью. Романов было, конечно, больше чем три. Но главных было три. Итак...

«Первая – назовем ее Майская – сделала меня мужчиной. С тех пор я самоуверенно считаю себя таковым. Она была чудо как хороша. Ее измена стала экспериментом, который она поставила над собой. Она проверяла свою любовь ко мне. Обмануть меня было невозможно. Я все понял в секунду и навсегда затаил скорбь.

Вторая – пусть она будет Октябрьская – изменила мне со своим законным мужем. То есть любила меня, а жила с мужем. Было очень неловко. Я в любую секунду мог увести ее от мужа, а она, понимая это, стыдливо говорила: «Не делай этого!» Ну я и не сделал.

Третья – назовем ее Близнецом – изменяла напропалую. Она искала меня, ждала только меня – единственную и вечную любовь, поэтому всматривалась в других и сравнивала со мной. И в конце концов назначила на это место – единственной и вечной любви – меня. Вот ненормальная!

Она, несмотря на все свои измены, совершенно искренне считала, что я первый и последний мужчина в ее жизни. Она бешено ревновала меня к другим женщинам. И еще говорила,

---

<sup>4</sup> Лермонтов М. Демон. Восточная повесть.

<sup>5</sup> Бунин И. Стихотворение «Душа навеки лишена...» 25.08.1922 года. Впервые было опубликовано в России в 1991 году.

что появилась на свет только для того, чтобы встретить меня. Врет, конечно! Впрочем, как все женщины, которые преданно любят. Преданность – это великое женское вранье. Но иногда они так заигрываются в этом своем вранье, что остаются преданными до самой смерти...

Да, кстати, о собаках. Эти не врут никогда. Друг другу, может, и врут, но человеку – никогда. Выбирают себе хозяина и не врут.

Банальная, конечно, мысль про собачью преданность. Тогда вот вам свежая: преданность – это врожденный собачий инстинкт, которого лишены женщины; у них он приобретенный...»

Каленин поставил финальную точку, ставшую от тряски вихлястой запятой, и резко обернулся на звук открываемой двери. В узкое купе международного вагона протиснулся его попутчик, который сразу после посадки куда-то исчез и отсутствовал уже минут двадцать. Он фамильярно хлопнул Беркаса по плечу и заговорщически подмигнул.

– Ну что, юноша, сколько бутылок водки вы пытаетесь незаконно провезти через границу нашей социалистической родины? А? Признавайтесь!

Беркас густо покраснел, так как на дне огромного чемодана, набитого до отказа в расчете на почти годичное проживание за рубежом, действительно лежали в ряд четыре бутылки «Пшеничной», из которых две провозились сверх разрешенного лимита. Опытные люди посоветовали: вези больше. Найдут лишнее – отберут. С поезда все равно не ссадят...

Сосед заметил смущение Каленина и снова подмигнул.

– Значит, так. У меня лишних целых пять штук. Давайте ваши... сколько?

– Две!

– Две. Отлично. Всего семь. Отдадим проводнику – я договорился. Он провезет без проблем. А вот это, – мужчина ловко извлек из потертого портфеля бутылку армянского коньяка, – мы откроем сейчас. У меня такая традиция: обязательно выпить сто грамм за отъезд. И давайте знакомиться. – Мужчина дружелюбно протянул широкую ладонь: – Куприн Николай Данилович, дипломат, работаю в советском посольстве в Бонне.

– Каленин. Беркас... Сергеевич. Я аспирант, еду на стажировку в Боннский университет.

– Как вы сказали: Беркас?

Каленин привычно вздохнул, давая понять, что ему не впервой объясняться по поводу своего странного имени:

– Это имя такое... древнеримское. Дед настоял, чтобы так назвали... Я не пью.

– Я тоже не пью, но за отъезд надо. Тем более открытую бутылку таможенники не заберут. С собой провезем! – Куприн раскатисто захохотал. – Да вы не думайте ничего такого. Водку и коньяк можно запросто купить в посольском магазине. И стоит это – сущие копейки. Просто традиция у нас такая: непременно привезти из Союза бутылочку-другую. Вроде как привет с Родины. Вот и хитрим с таможней. Немцам, кстати сказать, все равно. Они не интересуются нашими чемоданами. Вези что хочешь! А вот поляки после Бреста обязательно все перевернут. Каждую пачку сигарет пересчитают. Ну что, поехали, Беркас Сергеевич? – Куприн поднял стакан, наполовину наполненный янтарным напитком. – За знакомство и за отъезд!

Каленин отхлебнул из стакана, скривился и в очередной раз подумал о странностях человеческих привычек – как можно всерьез любить вкус этого отвратительного напитка, пахнущего старыми простынями и еще чем-то неприятным.

– А водку для чего везете? – неожиданно спросил Куприн. – Вы же непьющий?

– На сувениры, – засмутился Каленин.

– Правильно! – энергично согласился Куприн. – Вот все свои четыре бутылки и будете раздавать в течение года! – Он снова заливисто захохотал. – Эти глупости – про необходимость везти побольше водки – придумывают так называемые бывалые посетители капстран. Мол, водка – лучший подарок! Небось и супы в пакетах везете? И копченую колбасу, которую в очередях с боем добывали?

– Водку тоже в очереди, по карточкам... – буркнул Каленин.

– Глупости все это. Все это можно купить в Бонне дешевле, чем в Москве. Месячная стипендия стажера сделает вас в Германии настоящим богачом. Стипендия-то небось тысяча марок, не меньше?

– Тысяча двести.

– Ну вот. Это же целое состояние! А это что? – Куприн бесцеремонно взял со стола листок с записями Каленина.

– Это... по работе! Это не закончено... Разрешите, я уберу.

– А поздно уже убирать! – хмыкнул Куприн. – Я успел почти все прочесть, пока вы коньяк мучили. Забавный текст! Как там у вас: «Преданность – это великое женское вранье!» Точно сказано! – Куприн довольно крикнул. – Нас, дипломатов, обучают как разведчиков! Надо успевать все увидеть, запомнить, оценить. Талантливый дипломат – это наблюдательность и способность анализировать. Хотите, про вас расскажу? Все, что успел узнать, наблюдая вас десять минут. Хотите?

Каленин пожал плечами.

– Не стесняйтесь. Если что не так, поправляйте. Итак... – Куприн внимательно посмотрел на Каленина, сделал паузу и заговорил: – Вам двадцать четыре года. С отличием закончили вуз. Скорее всего МГУ. Вы филолог. Были женаты. Теперь разведены, а может быть, просто не живете в браке.

Каленин с нарастающим изумлением всматривался в собеседника, который как ни в чем не бывало продолжал:

– Есть ребенок. Сын. Около двух лет. Родились вы не в Москве, а, видимо, на юге. «Г» по-южному смягчаете.

– Я смягчаю? – возмутился Каленин – Я москвич! У меня московский говор! Я специально изучал сценическую речь, риторiku!

– Значит, кто-то из близких родственников с юга. Мама, к примеру, дед или бабушка, – невозмутимо уточнил Куприн.

Каленин обреченно умолк, так как вся родня по материнской линии действительно была из Астрахани.

В этот момент дверь в купе с грохотом отъехала и в проеме появился улыбающийся проводник.

– Николай Данилович! Я все сделаю, как договаривались. Кладите сюда вашу контрабанду. – Он протянул выдавшую виды сумку, в которой незамедлительно утонули сверхлимитные бутылки. – Вы уж не забудьте, Николай Данилович, ребятам напомнить, чтобы они там мои пакеты по чемоданам рассовали. Поезд из Кёльна пойдет через три дня. Там не меньше двадцати мотков...

– Помню, Гаврилыч, помню! Доставим твой мохер. Распределим по багажу. Тебе, кстати, зачем так много? Спекулируешь, что ли?

– Да что вы, Николай Данилович! Я же член партии. Как можно! – засмутился проводник. – Жена кофты вяжет; продает, не скрою. Подругам там, родне... Но это же труд.

– Ладно-ладно! Зарабатывай!

– Спасибо, Николай Данилович! Сейчас вам чай принесу...

Куприн проводил его глазами и радостно потер руки:

– Ну что, продолжим наш психологический эксперимент? Вы хороший спортсмен. Сейчас скажу, минуточку. – Он уставился куда-то в плечо Каленина. – Вы автогонщик! Так?

Беркас, глаза которого, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит, судорожно сглотнул слюну и кивнул:

– Мастер спорта СССР по автоспорту...

– ...и фехтованию. Да, и еще: вы окончили музыкальную школу по классу фортепьяно и скрипки. – Куприн хитро улыбнулся и, окончательно добывая собеседника, добавил: – В

совершенстве владеете немецким языком, буквально как родным. Хотите, отчество вашего отца отгадаю? – Куприн опять всмотрелся Каленину куда-то в область уха и уверенно бросил:

– Сергеевич он! Сергей Сергеевич!

– Но это невозможно! – воскликнул Каленин. – Этого не может быть!

– Отчего же? Хотите, объясню, как я при помощи нехитрых умозаключений все это угадал? – Куприн сверкнул белозубой улыбкой. – Вижу, что сгораете от любопытства! А между тем все элементарно. Судите сами: я сказал, что вам двадцать четыре года. Это было совсем не трудно. Вы представились как аспирант. В армии, судя по всему, вы не служили. Скорее всего сразу после окончания вуза поступили в аспирантуру – то есть в двадцать один или в двадцать два года. После первого года обучения вас на стажировку вряд ли отпустили бы. Значит, вам примерно двадцать четыре.

Каленин молчал, напряженно встраиваясь в логику рассуждений Куприна.

– С отличником и филфаком МГУ я угадал? – спросил тот.

– Угадали...

– Тоже элементарно. Троечника на стажировку в капстрану не пошлют. Это раз! Филолог – это видно из вашего текста, который вы так неловко пытаетесь прикрыть локтем. Повторяю, я успел его прочесть. Это два. А МГУ... Тут так: я знаю, что в капстраны на стажировку посылают в основном технарей – физиков там, механиков, которые ихние секреты спереть могут или наши продать! – Куприн опять жизнерадостно засмеялся собственной шутке. – Гуманитариев не пускают за ненадобностью. А раз вас пустили, то, значит, есть козыри: хороший немецкий, интересная тема научных исследований например! А главное – уважаемая контора, которая известна в Германии. Университет имени Михайло Ломоносова для этого подходит лучше всего.

Теперь насчет развода. У вас на безымянном пальце след от обручального кольца. А кольца нет. Можно предположить, что сняли его из-за развода, причем совсем недавно...

Скрипка – совсем просто. Пальцы длинные, а подушки на левой руке огрубевшие и темные в отличие от правой – здесь они нежные и розовые.

– Подождите. А как вы про сына узнали, про фортепьяно?

– Беркас Сергеевич! Миленький! Вы когда в купе зашли и билет доставали, то портмоне открыли. А там фото, где вы за роялем, а на руках – мальчик лет двух, копия вы!

– Ну хорошо! А про автогонки, про фехтование, про отчество отцовское?

– Вот это было легче всего. Надо было просто прочесть ваше личное дело, где так и сказано: отец, Иванов, а по жене – Каленин Сергей Сергеевич, военный переводчик. Там же я прочел, что вы чемпион Москвы по авторалли среди юношей, про увлечение эспандером, про то, что фехтовальную науку постигали у Альфреда Шалмана, что матушка ваша родом из славного города Астрахани! Продолжать?

Куприн зашелся в хохоте. Он дергал ногами и смахивал слезы. Его большое тело корчилося от судорог, и он никак не мог выдавить что-то, что хотел сказать Каленину. Наконец ему это удалось.

– Я, товарищ аспирант, ха-ха-ха... ваш... ха-ха-ха... куратор. В посольстве меня за вами закрепили... ха-ха. Вы должны ко мне явиться по прибытии в Бонн. Поняли? Ха-ха!

– Вы?

– Знаю, знаю. Вам другую фамилию называли. Благоев. Так?

– Так!

– Он перешел на другую работу. В Австрию уехал. Буквально неделю назад. Теперь всю науку и культуру курирую я. Милости прошу, Беркас Сергеевич! Смешно, правда? Ха-ха-ха... – Куприн отсмеялся и вдруг взглянул на Каленина строго и серьезно: – Кстати, про скрипку в вашем личном деле ничего не было. Я действительно установил это по вашим паль-

цам. Поверьте, Беркас Сергеевич, я человек серьезный и основательный. Вы в этом еще убедитесь...



## **Бонн, ...февраля 1985 года. Ганс Беккер критикует Карла Маркса и рассказывает удивительные вещи**

...Женщина шла по коридору медленно, может быть, даже на цыпочках. В полуподвале, ставшем с недавних пор жилищем Каленина, было темно. Свет проникал очень скудно – через узкие прямоугольные окна, нижний край которых совпадал с линией тротуара. Тут и днем-то света было не много, а вечером он вообще пробивался едва-едва.

Каленин видел только покачивающийся силуэт. Наконец женщина приблизилась, и темнота, ослабевшая от скудного света небольшого окна, немного отступила и позволила разглядеть черты ее лица. Каленин узнал хозяйку дома – пожилую даму с красиво уложенной прической и совиным профилем. Он хотел ее окликнуть и спросить, что ей нужно в его квартире в столь неурочный час, но язык непослушно завалился куда-то в область горла и, казалось, перекрыл и дыхание, и возможность издавать какие-либо звуки.

Заметив усилия постояльца, дама приложила палец к губам и покачала головой, давая понять, что просит его помолчать. Она прошла мимо дивана, на котором лежал Каленин, и дотронулась до его руки – вроде как поздоровалась, – отчего Каленин дернулся всем телом, ощутив обжигающий холод прикосновения.

Дама между тем приблизилась к письменному столу. Она что-то разглядывала, а потом протянула руку и стала гладить стену, к которой примыкал стол. Затем двинулась вправо и начала ощупывать следующую стену. Зачем-то приоткрыла книжный шкаф и передвинула книги на средней полке, на уровне своих глаз. Двинулась дальше – и опять ладони женщины обшарили штукатурку. Наконец круг замкнулся, и дама снова подошла к дивану. Не обращая внимания на застывшего от ужаса Каленина, она оперлась одной рукой о спинку дивана, а другой стала водить по стене. Каленин не столько увидел, сколько услышал, что она легко постукивает по стене, как бы проверяя наличие в ней пустот и прислушиваясь к звукам.

Беркас сделал еще одну попытку произнести хотя бы слово, но мрачная старуха снова приложила палец к губам, а потом с кошачьей ловкостью бросилась на Каленина и двумя большими пальцами резко нажала ему на глаза. Острая боль буквально захлестнула Беркаса, превратилась в яркое свечение и в непрерывный звон, который пульсировал в висках. Каленин отчаянно заорал и, оттолкнув взбесившуюся старуху... проснулся.

В комнате было темно и пусто. Рядом, возле дивана, валялась подушка, которую Беркас отшвырнул, приняв за навалившуюся старуху. Надсадно верещал звонок входной двери. Беркас тряхнул головой, оглядел комнату и, убедившись, что никого рядом нет, что все случившееся ему только приснилось, дотянулся до стены, на которой располагалась кнопка открывания двери.

Его боннская квартирка представляла собой три небольшие, очень уютные комнаты, которые располагались в полуподвальном цокольном этаже старого трехэтажного дома, построенного до войны, как и многие дома в старой части Бонна. Квартира имела то неоспоримое преимущество, что была снабжена отдельным входом, расположенным на лестничной площадке первого этажа. Чтобы попасть в Беркасово жилище, надо было войти в подъезд, открыть дверь, ведущую вниз, в цокольный этаж, пройти один лестничный марш, а там была еще одна дверь, миновав которую можно было войти уже в саму квартиру.

Хозяйка дома, носившая очень странную для немки фамилию Шевалье, объяснила Беркасу, что открыть верхнюю дверь он может, не выходя из квартиры, откликнувшись на звонок нажатием специальной кнопки, установленной в комнате, которую Беркас сразу определил для себя как кабинет-спальню. Он предпочитал работать именно здесь и, засиживаясь допоздна, часто засыпал прямо на диване, а две другие комнаты использовал крайне редко.

Кнопка для открывания двери находилась в кабинете возле двери, и Беркас в первый же день своего пребывания в квартире, в полном соответствии с русской традицией переустроить жизнь так, чтобы решать проблемы лежа, передвинул диван поближе к кнопке, и теперь мог легко дотянуться до нее ногой, не вставая со своего лежбища. Ее-то он в данный момент и давил ногой, отзываясь на настойчивый сигнал, идущий откуда-то сверху...

Беркас прислушался к шагам, унимая разбушевавшееся сердце: кто-то не спеша спустился по лестнице. Потом открылась дверь в квартиру, и он, выглянув в коридор, увидел Ганса Беккера – молодого немца, с которым познакомился буквально в первый же день своего пребывания в университете. Тот работал в институте политологии у всемирно известного профессора Карла Швайцера.

– Бэр! – окликнул его Ганс... (Он сразу же после их знакомства переделал имя Каленина на западный манер, объясняя это тем, что так ему удобнее, да и звучит солидно – «медведь»!) – Я уже собрался уходить. Думал, ты забыл... – Беккер посмотрел на часы и поправил шейный платок. – Давно хотел сказать: зачем ты открываешь дверь, не спрашивая, кто к тебе идет?

– Привет, Ганс! Прости, уснул... – Беркас потер глаза, вспоминая ощущение яркой вспышки, вызванное падением приснившейся домохозяйки.

«Чертовщина какая-то!» – подумал он, а вслух беспечно сказал:

– А что может случиться? Бонн – это, по-моему, город, где последнее ограбление квартиры случилось во времена раннего Средневековья. И потом, в этой квартире установлена дурацкая конструкция: кнопка открывания верхней двери находится здесь, в кабинете, а переговорное устройство – в коридоре. Чтобы уточнить, кто пришел, я должен идти в коридор, а чтобы открыть дверь – вернуться в кабинет и нажать кнопку. Мне становится лень уже от одной мысли об этом!

– Да, – согласился Беккер. – Это не по-немецки! Кстати, про немецкий: не устаю восхищаться – у тебя фантастически красивый рейнский акцент! Я как-то раз слышал, как говорил по-немецки один ваш ученый – он, как у вас говорят, «невозвращенец». Это было чудовищно! Звучало так, будто он издевался над нами и пародировал немецкую речь. А тебя можно смело принять за рейнского немца.

– Спасибо, Ганс! Это заслуга моего папы, который почти пять лет совершенствовал свой немецкий на фронте. Он был переводчиком... – Каленин стрельнул глазом на собеседника, проверяя реакцию на слова про фронт. Но тот был абсолютно невозмутим. – Он с детства со мной говорил по-немецки. А вот система открывания двери в этой квартире устроена, видимо, по-французски. Немцы до такой глупости додуматься не могли. Ты же знаешь, моя домохозяйка, фрау Шевалье, родом из Эльзаса... Судя по фамилии, тут не обошлось без галльского влияния...

Беккер прошел в кабинет и внимательно стал рассматривать свое лицо в зеркале, висевшем над письменным столом. Он чуть взъерошил густые русые волосы, еще раз подвигал пестрый шейный платок, добываясь только ему одному ведомой конфигурации легкого шелка, потом для чего-то подвигал стол и спросил:

– С хозяйкой ладишь? Она ведь женщина с характером!

– Я пока ничего особенного в ее характере не заметил. Милейшая старушка. Если бы еще по ночам ко мне не являлась...

– Не понял... – искренне удивился Беккер. – Она приходит к тебе по ночам?

– Да я пошутил, все нормально. Говорю же, добрейшая женщина. Мы подружились, и она даже не берет с меня Nebenkosten<sup>6</sup>.

– По поводу безопасности... я бы все же не рисковал. Сегодня этот квартал почти полностью заселен турками и арабами. Тут по ночам совсем не безопасно...

---

<sup>6</sup> Платежи за коммунальные услуги (нем.).

– Кому я нужен?! – отозвался Каленин. – Да и денег у меня почти нет. Я тут учусь кредитной карточкой пользоваться. Так странно: приходишь в магазин без денег, и все можно купить...

– А в СССР что, нет кредитных карточек? – искренне удивился Беккер.

Каленин не смутился.

– «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей...» – процитировал он известную песню и назидательно добавил: – В СССР много всего хорошего, но кредитных карточек пока нет. Но будут! Мы же сверхдержава. – Он хитро улыбнулся. – И потом, это же вы, немцы, придумали, что можно построить общество, в котором не будет денег. Поэтому вы раньше нас и перешли на карточки.

– Маркс ошибался, – серьезно возразил Беккер. – Деньги будут всегда! И Енисей перекрывать не надо... Природа страдает.

– Может, и ошибался! Только его ошибки будоражат людей вот уже второе столетие. У нас, к примеру, ваш Маркс очень популярен... А у вас – всего одна улочка его имени, да и та метров сорок.

– Ну почему же только улочка... В Брюсселе, к примеру, есть ресторан, где все стены увешаны фотографиями Маркса и Энгельса. Говорят, когда они там писали свой «Манифест», то выпили очень много пива. Даже в полицию попали за пьяный дебош. Будешь в Брюсселе, обязательно зайди в эту пивнушку. Это прямо в центре, рядом с ратушей.

Каленин внимательно посмотрел на Беккера, пытаясь понять, серьезно тот говорит или шутит. В части посещения Брюсселя... Ведь сама поездка в Бонн на научную стажировку уже для советского аспиранта событие крайне редкое. Во всей Западной Германии таких счастливыхчиков было человек двадцать, и всем категорически запрещалось пересекать границу страны пребывания. Но лицо Ганса было абсолютно непроницаемым. Оценив его готовность вступить в серьезный и долгий политический спор, Беркас примирительно уточнил:

– Ладно! О чем тут спорить. Товарищи Маркс и Энгельс – это ваши немецкие парни. Что заслужили, то и получили.

Беккер в свою очередь явно размышлял, как среагировать на иронию Каленина: то ли дать отпор, то ли сделать вид, что не заметил подколки.

Эту его способность все воспринимать всерьез Беркас пару раз уже использовал, чтобы подшутить над новым приятелем. К примеру, он подарил ему несколько коробок папирос. Уже сам по себе этот подарок был абсолютно экзотичен, так как Беккер, будучи заядлым курильщиком, никогда в жизни папиросу во рту не держал. Даже блеклые пачки «Беломора» и «Севера» вызвали у него неподдельный интерес. А уж изящная коробочка папирос «Три богатыря» с картинкой от Васнецова на крышке произвела на него просто неизгладимое впечатление. Он рассматривал ее со всех сторон, не зная, как подступиться к диковинному презенту.

Каленин аккуратно вскрыл красивую коробочку, достал папиросу, смял в одно движение мундштук, для того чтобы ее можно было держать зубами, а потом смело согнул под прямым углом.

– На! Кури на здоровье!

Ганс аккуратно сунул папиросу в рот, прикурил от зажигалки, смешно склонив голову набок, а потом застыл, не зная, что делать дальше.

– Держи папиросу, как трубку, – посоветовал Беркас, с трудом сдерживая смех. – Так у нас принято.

– Потрясающе! – восхищенно произнес Ганс. – Вы, русские, всегда так курите? Очень красиво!

Через пару дней Ганс подошел в библиотеке к Каленину и серьезно спросил:

– Бэр! Я сегодня общался с одним поляком. Он удивился. Он сказал, что папиросу ломать не надо. Я ему ответил, что курю по-русски, а он начал смеяться.

– Не верь ты этим полякам! Не умеют они курить папиросы. Хотя должен тебе сказать, что папиросу можно и не ломать. А твой стиль курения называется по-русски «козья ножка».

– Ко-зи-ея ниошка! – повторил Ганс, сделав серьезное лицо.

– Точно!

Ганс взглянул на Беркаса, и в его глазах наконец-то мелькнуло недоверие.

...Ганс, присев к письменному столу, с удивлением наблюдал, как Каленин наглаживает брюки. Он никогда не видел этой процедуры. Для этого в Бонне существовали химчистки, да к тому же он просто не мог припомнить, когда в последний раз надевал костюм. Джемпер с джинсами, правда, всегда идеально подобранные и с этикеткой известной фирмы, были его одеждой на все случаи жизни. Вот и сегодня, собираясь в университет на открытую лекцию знаменитого политолога, профессора графа Ламсдорфа, он был в своем традиционном наряде, с той лишь разницей, что на шее был повязан цветастый шелковый платок, призванный подчеркнуть торжественность момента.

– Послушай, Ганс! – Каленин продолжал ловко орудовать утюгом. – Еще в прошлый раз хотел тебя спросить: а как эта квартира связана с остальной частью полуподвала, с бывшей клиникой? Я в том смысле, что за этой стеной? – Каленин показал на стену, возле которой стоял книжный шкаф. – Там же огромное помещение. А входа туда нет – ни с улицы, ни отсюда.

Каленин поставил утюг и, подойдя к стене, похлопал по ней точно в том месте, которое в его тревожном сне ощущивала приснившаяся хозяйка дома.

– А почему ты меня об этом спрашиваешь? – насторожился Беккер.

– Ну ты же родственник хозяйки. Сам же говорил... Вот я и подумал: вдруг ты знаешь. Уж больно странно устроен этот подвал.

Каленин вернулся к прерванному занятию, набрал в рот воды и резко выдохнул на газету, через которую, за неимением марли, гладил брюки. Появление газеты «Bild» в качестве вспомогательного орудия для глажки вызвало на лице Ганса такое искреннее удивление, что Каленин, рассмеявшись, счел необходимым пояснить:

– В самый раз для глажки брюк! Такая газета для этого и нужна!...Получается, что бывшая клиника замурована со всех сторон. Это же странно! Огромный этаж, много окон, а используются только мои три комнатки?...

Беккеру явно не понравилась настойчивость русского приятеля, и он неохотно ответил:

– Спроси фрау Шевалье! Это же клиника ее покойного мужа...

– Да я спрашивал. И представляешь, этот вопрос почему-то ее смутил. Вот я и подумал, а вдруг тут есть что-то такое, что мне лучше было бы знать? Это я как раз про безопасность. – Каленин многозначительно помахал утюгом. – Как бы не привлекли эти темные окна каких-нибудь незваных гостей с дурными намерениями!

– Ты что, действительно не знаешь историю этой семьи? Фрау Шевалье тебе ничего не рассказывала? – подозрительно уточнил Беккер.

– Это-то и странно! Она вот уже почти два месяца через вечер приглашает меня к себе на политические диспуты. Но когда я как-то раз спросил ее про клинику и о смерти мужа, вдруг замкнулась и после этого целую неделю со мной не разговаривала. А тут еще я натолкнулся в прессе на сообщение о том, что доктор Шевалье покончил жизнь самоубийством. Может, расскажешь, что это за история?

Беккер скривил физиономию, давая понять, что не испытывает особого желания говорить о покойном муже хозяйки дома. Но поскольку Каленин выжидательно молчал, нехотя начал:

– Клиника всегда была главным местом в этом доме. Ведь Герман Шевалье был знаменитым на всю Германию стоматологом и пластическим хирургом. Собственно говоря, немецкая пластическая хирургия с него и пошла. Он стал особенно знаменит в конце тридцатых...

– При фашистах?... Ой, извини...

– Нормально! Мы так и говорим: «во время наци», – это нормально. Ты никого не оби-дишь этим. Правда, лучше говорить не «при фашистах», а «при нацистах»... Так вот, при нацистах с ее мужем приключилась непонятная история. Он был абсолютно вне политики и занимался только врачебной практикой. Ему доверяла свои зубы вся элита Третьего рейха. Он быстро разбогател и купил этот дом. Внизу была клиника. Третий этаж занимал сам доктор с семьей, остальные площади сдавались.

Беркас перестал гладить и стал внимательно слушать рассказ Беккера. Последнюю пор-цию набранной в рот воды он попросту проглотил...

– Представь себе, – продолжил Беккер, – в самом конце сорок четвертого года Герман Шевалье неожиданно исчез. Спустился сюда, вниз, в свою клинику, которая как раз и находи-лась здесь, за стеной, а когда через час жена пошла приглашать его пить традиционный утрен-ний кофе, то доктора в клинике не оказалось. Причем никто не видел, как он исчез. Говорят, фрау Шевалье даже к Гиммлеру обращалась по этому поводу... Но все было тщетно – муж исчез бесследно, и, по слухам, его не было месяца три-четыре... А потом он объявился. И представь: следующие сорок лет, до самой смерти, он не произнес ни слова.

– В переносном смысле?

– В самом прямом! У него случилось какое-то нервное заболевание. Что-то с ним про-изошло такое... Ну давай заканчивай, нам пора!

Беркас снова начал энергично орудовать утюгом и уточнил:

– А ты откуда знаешь эти подробности?

– От самой фрау Шевалье. Она же родственница моей матери. Мы часто общаемся.

Беркас продемонстрировал идеально отутюженные брюки и, ничуть не стесняясь гостя, скинул спортивные штаны. Взгляду изумленного немца предстали трусы из черного сатина, каковых ему прежде видеть не приходилось. Каленин в два движения натянул отглаженные брюки.

– Успеет! А что случилось потом?

– Незадолго до смерти он затеял ремонт клиники. Как говорит фрау Шевалье, ему пришла в голову странная идея все перепланировать. Он замуровал вход с улицы, и хотел эту квартирку, где раньше была его библиотека, перепланировать и сделать приемным покоем кли-ники. Где-то тут начали делать новый вход... Но не успел... Умер... Он повесился...

– Вот незадача! – сочувственно произнес Каленин. Еще раз оглядев кабинет, он снова вспомнил тревожный сон, но опечалиться всерьез не получалось, а изображать сопереживание не хотелось. – Я почти готов! – Каленин нырнул в соседнюю комнату и через минуту вышел оттуда в отлично сидящем пиджаке, пошитом специально для заграничной поездки, в белой рубашке и галстуке.

Ганс не удержался и удивленно присвистнул:

– Ты после лекции еще куда-то собираешься?

– Нет, а что?

– Как тебе сказать... У нас так торжественно не ходят даже на свадьбу.

Каленин смутился.

– Считаешь, что очень парадно? Просто у нас в Союзе именно так одеваются на работу, а тем более на вечернее мероприятие.

– Никаких проблем! – улыбнулся Ганс. – Можно и так. Просто ты будешь сегодня вече-ром единственным молодым человеком на весь Бонн, столь строго одетым. Тогда уж возьми папироску и сделай «козию ниюшку». – Ганс мстительно похлопал Каленина по плечу. – Будет советский стиль.

– Погоди... – Каленин забежал в спальню и через пару минут вышел в черных вельвето-вых джинсах и джинсовой куртке, надетой на футболку, на которой на фоне серпа и молота через грудь шла ярко-красная надпись: «Слава советскому хоккею!» – Годится?

– Здорово! – восхитился Ганс. – А что тут написано?

– Тут написано: «Слава КПСС!» У нас на всех майках так пишут, и все носят только такие майки.

Ганс помрачнел и пробурчал:

– Надеюсь, на лекции не будет никого, кто понимает по-русски...

Но Беккер ошибся. На лекцию в своем черном «порше» – сам за рулем! – ехал профессор Адольф Якобсен, прославившийся в Боннском университете тем, что, несмотря на свои шестьдесят с лишним, виртуозно водил спортивный автомобиль, издававший при приближении к университетским стенам басовитое грозное рычание.

Другой талант профессора был малоизвестен, да и оценить его по достоинству было практически некому: он виртуозно ругался матом, переняв это непростое искусство от старшины Красной армии Ивана Лыкова. Старшина опекал молодого обер-лейтенанта во времена его пятилетнего пребывания в советском плену, в лагере под Одессой, где тот быстро выучился русскому языку, оказавшись исключительно способным учеником.

Адольф был переводчиком при начальнике лагеря, что позволяло ему свободно выходить за «колючку», пить со старшиной водку и даже ухаживать за молоденькими русскими девушками из ближайшей деревеньки...

Ну и, наконец, профессор писал романы, каждый из которых буквально взрывал Германию. Но об этом чуть позже...

## Москва, тот же день. Лера Старосельская бьет по лицу Гавриила Дьякова

Ровнехонько в тот момент, когда двухместная спортивная бестия профессора Якобсена влетела на парковку университетского городка в центре Бонна, в Москве началась телевизионная новостная программа «Время». Если кто-то из читателей запомнил, то напомним, что в Москве тогда было всего два телевизионных канала – первый и местный, московский. В девять вечера подавляющее большинство граждан Советского Союза включали свои в основном все еще черно-белые телеприемники и смотрели новости.

О! Это была целая наука – смотреть новости. К примеру, если диктор говорил о встрече генерального секретаря ЦК КПСС с другим генеральным из какой-нибудь страны ближнего европейского зарубежья и при этом сообщал: «Встреча прошла в братской атмосфере», – то это означало, что на встрече все было скучно и обыденно.

А вот если, сделав суровое лицо, он произносил: «Состоялся откровенный разговор об актуальных проблемах двусторонних отношений...», – то искушенный зритель принимал к телеэкрану, чтобы по всяческим малоприметным деталям уловить, на какую тему поругались встретившиеся вожди и не ждать ли теперь исчезновения с прилавков товаров той страны, лидер которой «откровенно» поговорил с нашим отечественным руководителем.

В последние недели – сразу после избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС – все было вроде бы как всегда. Те же бодрые сводки о производственных успехах. То же осуждение неизменных происков международного империализма, который по-прежнему угрожал социалистическому лагерю своими крылатыми ракетами, завезенными в самое сердце Европы.

Передавались все те же отчеты об очередных матчах хоккейного первенства страны, где из года в год интригой оставалось только одно – сможет ли московский «Спартак» на это раз все же скинуть ЦСКА с высшей ступеньки пьедестала почета или все останется как есть: ЦСКА – первый, за ним – «Спартак», а дальше – либо «Динамо», либо «Крылышки»... Ну, иногда «Химик» из Воскресенска...

И все-таки что-то неуловимо поменялось. То ли костюмы дикторов посветлели, то ли как-то незаметно в их лексиконе стали появляться новые слова. А в этот вечер вообще случилось невероятное: по телевизору показали, как первый секретарь Краснодарского обкома КПСС товарищ Беляев Борис Нодарьевич, работая локтями, протискивается вместе с простыми тружениками в переполненный троллейбус. Потом появилась и вовсе шокирующая картинка: выбравшись из троллейбуса, глава крайкома обнял пожилого попутчика и в порыве невиданного благородства снял с руки часы и сам застегнул их на запястье растерявшегося пенсионера.

– Не перебор ли? – поинтересовался сам у себя вслух мужчина средних лет, который внимательно смотрел телевизионную программу, развалившись в кресле и выложив на колени огромный оголенный живот. Мужчина был такой полный и неповоротливый, что его, без всяких скидок на вежливость, можно было назвать очень толстым. Голова была под стать туловищу: огромная, увенчанная густым седоватым ежиком, что еще больше увеличивало ее в размерах. С чубом контрастировали абсолютно черные усы – будто бы приклеенные к основанию крючковатого мясистого носа. – Да нет, нормально! – ответил он на собственный вопрос после некоторого размышления. – Умные люди, конечно же, поймут, что все это чистейшей воды показуха. Еще и плеваться будут! Ну так ведь это умные! Они в нашей стране ничего не решают...

Между тем на экране миловидная кокетливая дикторша перешла к следующему сюжету.

«...Сегодня в Москве состоялось заседание организационного комитета новой общественной организации – «Гражданский форум в поддержку Михаила Горбачева», – выделяя голосом имя реформатора, произнесла она. – Председателем новой общественной организации избран доктор экономических наук Гавриил Христофорович Дьяков...»

«Это про меня!» – подумал одинокий телезритель и подался вперед, отчего кресло жалобно запищало.

«...Вот что он сказал по окончании заседания...»

«До чего же ты нетелегеничен, Гавриил Христофорович! – подумал Дьяков, разглядывая свою оплывшую физиономию на экране. – Еще толще, чем в жизни. Урод, право слово...»

«...решение всех прогрессивных сил в стране!» – звучало с экрана.

«И голос какой-то противный, – самокритично продолжал рассматривать себя Дьяков. – Никогда бы не подумал, что он у меня звучит так, будто воду в унитаэном бачке сливают. К тому же акцент... Ну откуда, скажите? И не жил ведь ни дня с отцом, а дураку ясно, что у человека иностранный акцент. Ладно хоть никто не догадывается какой. Просто никто не слышал, как он звучит в природе – этот турецкий язык... Надо свести эти телевизионные выступления к минимуму. Твое дело, Гавриил, – кабинетная интрига, статейки всякие. А выступает пусть Коля! У него это просто блестяще получается... Интересно, покажут?... Ага, вот как раз и он!»

«...В заседании приняли участие видные представители науки, литературы и искусства, замечательные советские спортсмены, – торжественно продолжала дикторша. – Но особенно запомнилось всем участникам яркое и бескомпромиссное выступление офицера Советской армии, подполковника Николая Плотникова».

На экране появился молодой подполковник. Открытое и даже миловидное лицо, привлекательное не столько приятными чертами, сколько скромной мужественностью и некоторой застенчивостью. Высокий рост, широкие плечи, правильная речь...

«Уважаемый Михаил Семенович! – по-военному четко и решительно начал он. – Посмотрите, пожалуйста, на меня! – Парень вдруг засмуэался, и все телезрители должны были это заметить. – Мне тридцать пять лет. Я офицер, член КПСС. Не мальчик уже. У меня семья, двое маленьких детей. Если честно, уважаемый Михаил Семенович, – офицер потупил глаза, – я давно уже разуверился во всем. В военной службе и, страшно сказать, даже в своей любимой стране... И в партии тоже! А как по-другому? – Теперь глаза смотрели точно в объектив, были чисты и прямодушны. – Как можно, оставаясь честным человеком, закрывать глаза на все, что творится вокруг? В армии сегодня – пьянство и разложение. В стране – сон летаргический! В партии – карьеристы и догматики!...»

На слове «догматики» Дьяков удовлетворенно хлопнул в ладоши.

«...Ну нельзя так больше, Михаил Семенович!!! Качните вы эту машину! Прогоните этих зажавшихся партийных аппаратчиков! Мочи нет смотреть, как они партию дискредитируют! – Парень сделал паузу и вдруг рубанул рукой воздух. – Если и осталась надежда – она на вас, товарищ генеральный секретарь! Только, положи руку на сердце, – тут подполковник положил руку на левую сторону груди и заметно погрузнел, – не очень я верю в ваш успех. Не дадут они вам провести реформы – эти памятники из Политбюро! Эти питекантропы замшелые! Поэтому принял тяжелое решение. – Офицер картинно опустил голову. – Я приостанавливаю свое членство в КПСС!!! Сегодня утром я отослал свой партбилет по почте в ваш адрес. Приостанавливаю до тех пор, пока не почувствую, что вы всерьез взялись за перестройку нашей страны, нашей партии».

– «Перестройка»!!! Точно, перестройка! – Дьяков от волнения впился крепкими желтоватыми зубами в ноготь большого пальца. – Ну, Коля! Ну, молодец! Это ведь он, умница, символизировал!



«...Пусть мой партийный билет полежит у вас, Михаил Семенович. Давайте встретимся через год – и тогда я надеюсь, что смогу отбросить все свои сомнения и вернуться в ряды советских коммунистов...»

– Bravo, Коля! – подскочил Дьяков под аккомпанемент жалобно скрипящего кресла. – Молодец! Даже лучше, чем во время репетиции. Чувства больше, искренности! Завтра тебя попрут за эту крамолу из армии. Послезавтра не станут никуда брать на работу! А через месяц мы сделаем тебя национальным героем! Как Беляева... Быть тебе большим начальником!

«...продолжают поступать отклики на заседание оргкомитета и создание новой организации. – Это уже включился в работу диктор-мужчина, демонстрируя безупречную укладку и новомодный воротник белой рубашки – широкий, с длинными острыми углами. – Есть обращения целых трудовых коллективов в поддержку данной инициативы. А вот как высказался по этому поводу товарищ Беляев Борис Нодарьевич, первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС».

Сначала на экране появилась заставка с надписью «Краснодар», а затем – статная фигура Беляева на фоне черного, только что вспаханного поля, которое, казалось, дымилось под жаркими лучами южного весеннего солнца.

«Труженики Краснодарского края – рабочие, селяне, интеллигенция – горячо одобряют эту замечательную инициативу, – хорошо поставленным голосом произнес Беляев, а Дьяков в очередной раз отметил, что баритональный бас его протеже хорошо звучит не только со сцены. – Надо поддержать нашего генерального секретаря. В стране пахнуло ветром перемен! Наконец-то пахнуло! – Беляев широко улыбнулся и отработанным жестом отбросил со лба красивую густую прядь. – Обновляется партия! Люди задышали свободнее. Мы ответим на эту инициативу новыми трудовыми достижениями. Дадим в этом году рекордный урожай зерновых! А офицеру этому скажу! Молодец! Не побоялся пойти против ветра!.. – Белов подумал и поправился: – Против течения! – А потом нахмурил брови и грозно произнес: – И попробуйте только тронуть этого смелого человека! Все честные люди встанут на его защиту! Вся партия! Весь ЦК!..»

И снова голос диктора:

«...Мы передавали репортаж из Московского дома актера, где сегодня была учреждена новая общественная организация «Гражданский форум в поддержку Михаила Горбачева».

Не дожидаясь окончания программы (обычно Дьяков выключал телевизор только после спортивных новостей), он тяжело поднялся и, успокаивая дыхание, которое тут же сбилось от необходимости пополнять кислородом пытящую машину его оплывшего тела, выключил телевизор. Он люто ненавидел эту процедуру – вставать и подходить к телевизору... Гавриил Христофорович давно собирался купить телевизионный аппарат с дистанционным управлением: нажал кнопку – телевизор включился, нажал другую – прибавил звук. Красота! Но сегодня он даже не успел подумать о своих неприятных ощущениях. Слишком хорошо было на душе, чтобы обращать внимание на такую мелочь, как необходимость делать лишние движения.

Дьяков по инерции чертыхнулся, но вернулся к креслу и уселся в него с явным удовольствием. Рядом на полу лежала трубка радиотелефона, которую он сейчас и терзал, пытаясь попасть толстыми пальцами в кнопки. Дьяков гордился тем, что радиотелефон с переносной трубкой появился у него у одного из первых в Москве. При его лености трубка была спасением, так как по телефону Гавриил Христофорович говорил десятки раз на дню.

– Жень! Ты видел?! – Гавриил Христофорович торопился услышать мнение своего давнего приятеля и советчика по всем важным вопросам – Евгения Ивановича Скорочкина, который на тот момент занимал должность директора Московского плодовоощторга и был человеком не просто влиятельным, но даже могущественным. Достаточно сказать, что на его недавнем юбилее присутствовал сам Горбачев с супругой, а поздравительную телеграмму прислали Фидель Кастро и знаменитая американская певица Элла Фицджеральд.

– Ну естественно! – отозвался Скорочкин. – Этот твой генерал просто красавец!

– Подполковник! – уточнил Дьяков. – Но скоро обязательно будет генералом! Веселое время наступает, Женечка! Ой какое веселое! Главное сейчас – сделать правильные ставки! Твоя идея с форумом – гениальная!

– А ты меня не ценишь, Гаврюша! – полушутливо ответил на комплимент Скорочкин. – Ты теперь большой человек. А насчет ставок ты прав. Мое мнение – надо обложить Горбачева своими людьми. Глупо сейчас двигать кого-то на его место. Я твою идею насчет Беляева не одобряю...

– Если честно, то идея эта вовсе не моя. Есть люди...

– Да знаю я этих людей! – перебил Скорочкин. – Только ты на них не очень-то ссылайся. Они еще месяц назад во врагах числились. Да и вообще спецслужбы другой страны в друзей никогда не превратятся! У них всегда будет свой интерес. А наша задача сделать так, чтобы их интересы совпали с нашими. Только торопиться ты больно! Всему свое время. Пусть сначала конфликт случится между Горбачевым и Беляевым. Пусть Миша съест этого доморощенного Шалапина вместе со шнурками. Иначе твой одноухий не станет кумиром масс. Он должен превратиться в придорожную пыль и озлобиться на весь свет. Не на Горбачева, заметь! На всю систему!

– Согласен, Женечка, согласен! Борис еще не созрел для настоящей борьбы. Но роль свою выводит на диво точно. Видел, какой он номер с часами придумал?

– Да брось ты! – равнодушно отозвался Скорочкин. – Этот номер у него с бородой. Просто на экраны попал первый раз. А так вся крайкомовская челядь знает, что его охрана в карманах часы таскает, которые он потом якобы со своей руки гражданам раздает. Там, в Краснодаре, общественную организацию впору создавать с названием «У меня есть часы Беляева!»

– Ну не суди ты его так строго. Старается человек. Прок будет, я уверен. Обязательно будет! Нам ведь такой и нужен: бесшабашный, открытый, пьющий. К тому же властолюбец и карьерист. Находка! Ему нужна власть, ну а нам – все остальное.

– Еще раз говорю: не торопись. Обкладывай Горбачева, обнимай. Хвали взахлеб – он это жутко любит! Ври в глаза. Убеждай, что все идет замечательно. Что народ от него без ума! Остальное он сделает сам. Сам могилу себе выкопает, сам себя похоронит да еще и речь на собственных похоронах произнесет. А певца своего спровоцируй на конфликт. Пусть, к примеру, на пленуме выступит, что с линией партии, мол, не согласен: реформы идут медленно, партийный аппарат погряз в привилегиях... ну и прочая подобная фигня. А потом генерала твоего подключим...

– Подполковника...

– Ну подполковника. Какая разница... Он начнет компанию по сжиганию партийных билетов в знак протеста... Представляешь, все твои артисты, спортсмены, ученые эти, которые сейчас нашу историю переписывают, черпают факты прямо из унитаза, потом журналисты, особенно этот, с украинским акцентом, из «Фары...», он у меня уже лет десять продуктовые наборы берет, так вот, представляешь, вся эта гоп-компания стоит, к примеру, напротив мавзолея и в присутствии сотен телекамер жжет партийные билеты. Да еще все приплясывают от подбострастия, поскольку уверены, что их смелость высочайше одобрена.

Дьяков восхищенно захлебнулся подступившим к горлу смехом:

– Тебе, Евгений Иванович, надо спектакли ставить, а не редиской торговать.

– Поставим, надо будет... – почему-то обиделся Скорочкин. – А над редиской ты не смейся. Ты вот профессор, а что у тебя есть? Двухкомнатная квартира и ожирение второй степени от неправильного питания в студенческой столовой. А на меня посмотри?! У меня полнота здоровая, розовая, спокойная. Дом на Рублевке, «Волга» черная, у каждого сына по «девятке», хотя младшему только восемнадцать стукнуло. Жена под центнер весом и вся

в золоте... За границу езжу каждый год. В Мюнхен, между прочим. У нас там ежегодная ярмарка... Ты вот когда последний раз был в капстране?

– Не был я в капстране. Ты же знаешь. Меня не пускают из-за корней моих турецких. Папаша биографию подпортил...

– Ну вот видишь! Одним словом, думай, Гавриил Христофорович! Ты теперь у нас главный по Горбачеву. Он теперь – за тобой. Глядишь, лет эдак через пять и ты на Рублевку переберешься. Время такое грядет! Правильно ты сказал, веселое время. Сейчас героями начнут становиться не те, кто умеет работать, а те, кто умеет себя показать! Один выступит – и в дамки. Другой статейку тиснет – и кумир. Третий в тюрьму сядет за спекуляцию – и мученик! А кто и просто билет свой партийный бросит в помойку – и тут же герой!

– Моего генерала имеешь в виду?

– Почему только его! Подполковник твой, конечно, из этой серии. Но и ты тоже, к примеру! Еще вчера никому не известный профессор. Заднескамеечник, можно сказать. Далеко не Абалкин, не Петраков<sup>7</sup>... А сегодня – эвон как вырос: по телику людей уму-разуму учишь! Сразу всех своих коллег перепрыгнул.

– Спасибо, Женечка! Спасибо на добром слове! Красиво похвалил. Мол, идиот идиотом, а вот ведь выбился случайно...

– Не за что! Не идиот, конечно! Но действительно выбился. Разве не так? Ладно! Будь здоров... – Скорочкин бросил трубку, оставив Дьякова в состоянии обиды и раздражения.

Гавриил Христофорович попытался собраться с мыслями, но тут надсадно заверещал дверной звонок. Дьяков взглянул на часы и удивился. Одиннадцатый час. В это позднее время к нему никто и никогда не приходил. Даже в юности, когда еще мама была жива... А последние лет десять никто, кроме тети Клавы, которая убирала в квартире и стирала белье, вообще не переступал порог его холостяцкого жилья.

Для тети Клавы время было уж точно неурочное. Она жила на другом конце Москвы и приезжала исключительно по понедельникам. А сегодня среда...

Гавриил Христофорович, отдуваясь и смахивая со лба крупные капли пота, двинулся к входной двери. Он с трудом развернулся в прихожей, основательно толкнув плечом старую вешалку, выполненную в виде оленьих рогов с бесчисленным количеством отростков, на которых, как елочные игрушки, висели головные уборы. От толчка на пол упало сразу несколько, включая отцовскую турецкую феску – сильно побитую молю и остро пахнущую нафталином.

– Лера?! – с удивлением воскликнул Дьяков, обнаружив на пороге сотрудницу своей кафедры Валерию Старосельскую, которая твердо шагнула в квартиру, не спрашивая разрешения. – Что случилось? Почему так поздно?

Валерия Ильинична Старосельская, которая и обычно-то не блистала ухоженной внешностью и опрятностью в одежде, в данный момент являла собой зрелище просто ужасное. Была она в потертом пальто с оторванной верхней пуговицей, которую заменяла булавка. Пальто было настолько старым и не подходящим по размеру, что оставшиеся пуговицы сидели в истрепанных петлях как-то боком, обнажая длиннющий пучок ниток, на которых они едва держались. При этом все неровности ее крупного тела отчетливо проступали по стиснутым серой тканью бокам. На ногах – боты «прощай, молодость». Огромные тяжелые кисти рук имели лилово-синий оттенок – видимо, от холода. Было заметно, что добиралась она издалека и изрядно замерзла.

Лера близоруко щурилась через очки с толстенными стеклами, в которых ее глаза, если смотреть ей прямо в лицо, превращались в две крохотные шляпки от гвоздей. Как раз в эту минуту она напряженно поблескивала своими шляпками, всматриваясь в Дьякова, будто бы видела его впервые и потому пыталась понять, тот ли перед ней человек, который нужен. Нако-

---

<sup>7</sup> Самые известные советские экономисты того времени.

нец она в чем-то убедилась, шумно вздохнула и наотмашь, со всей силы, на которую только была способна ее увесистая комплекция, врезала ему по физиономии. Голова Дьякова гулко ударилась о вешалку, с которой упала очередная шапка – кажется, это была тюбетейка.

Не дожидаясь от Дьякова какой-либо реакции, Валерия Старосельская саданула ему по физиономии с другой руки и, не давая голове шмыгнуть куда-нибудь в сторону, снова широко махнула правой. И снова загудела вешалка. Снова упал головной убор. Теперь это была белая соломенная шляпа, которая спланировала прямо к ногам женщины. Она победоносно пнула головной убор ногой, отчего тот подпрыгнул и покатился в комнату. Потом развернулась и вышла из квартиры, причем хлопнула дверью с такой силой, что вешалка, недобро качнувшись, рухнула на Гавриила Христофоровича, который за все это время не проронил ни одного слова, а только вращал влажными черными глазами, замуривая их всякий раз, когда получал очередную затрещину...

## Бонн, вечер того же дня. Застолье с профессором

Профессор Адольф Якобсен был известным на всю Германию оригиналом. Рассказывали, что как-то раз он явился получать литературную премию из рук канцлера Гельмута Шмидта в необычайно экстравагантном костюме, пошитом специально для этого случая его личным другом, французским модельером Криштианом Диором, который, кстати сказать, присутствовал на торжестве. После награждения приятели распили на ступеньках резиденции канцлера бутылку немислимо дорогого шампанского и двинулись в сторону старого кладбища, расположенного в самом центре города и известного знаменитыми захоронениями: здесь, к примеру, покоился прах безумного Франца Шуберта и его романтической жены Клары Вик; здесь упокоилась мать великого Бетховена и многие другие знаменитые жители Бонна.

Перед центральным кладбищенским входом, в присутствии большого числа журналистов и телекамер, профессор разделся до трусов и спалил на импровизированном костре свои малиновые брюки и зеленый смокинг вместе с конвертом, в котором лежало пятьдесят тысяч дойчмарок – как раз вся полученная только что премия. Недоумевающим газетчикам, а также быстро прибывшим к месту нарушения общественного порядка полицейским и расчету пожарных, профессор охотно объяснил, что таким образом он протестует против потребительского образа жизни, атрибутами которого являются дорогие вещи и деньги.

Правда, поступок этот совсем не мешал ему разъезжать по Бонну на очень дорогом автомобиле, жить вдвоем с парализованной женой в доме из восемнадцати комнат и носить на указательном пальце перстень с огромным бриллиантом.

...Профессор ехал на вечернюю лекцию специально ради Каленина. В научных кругах он был хорошо известен как специалист по международному праву, а с некоторых пор стал куда более знаменит как писатель. Первый его роман, написанный, когда ему было уже далеко за пятьдесят, назывался «Умри вчера, Магда!» и вызвал страшный переполох в немецком обществе. Книга была посвящена судьбе нескольких немецких женщин, чьи мужья не вернулись с Восточного фронта, а одного казнили по приговору Нюрнбергского трибунала как нацистского преступника. Роман шокировал сытую и умиротворенную немецкую публику тем, что в нем вина за фашизм и Вторую мировую войну возлагалась не только на Гитлера и его приспешников, но и на немецкую нацию в целом.

Особенно досталось женщинам. Якобсен выдвинул идею, что преклонение перед Гитлером – это в первую очередь массовое проявление известного женского психологического феномена: влюбленности жертвы в насильника и маньяка. Больше того, Якобсен утверждал, что подтвержденная позже импотенция Гитлера только усиливала влечение к нему значительной части немецких женщин...

«Обезумевшие от сексуальной сублимации немецкие овчарки и привели к власти этого психа!» – утверждал Якобсен, имея в виду немок.

Надо ли говорить, что отношение к литературному творчеству профессора было в Западной Германии, мягко скажем, критическим. Были, правда, те, кто считал его непризнанным гением. Но другие, каковых среди интересующихся литературой немцев было подавляющее большинство, при его появлении делали вид, что не замечают, дабы избежать необходимости здороваться и подавать ему руку. А Якобсен платил им тем же, демонстрируя полное пренебрежение к общественному мнению и готовность взрывать его новыми неординарными суждениями и поступками...

Интерес Якобсена к русскому ученому был вызван тем, что он набрел в библиотеке на советский журнал «Вопросы истории», в котором была опубликована статья Каленина, посвященная его скандальному роману. Оценки молодого советского литературоведа потрясли профессора своей точностью и абсолютной свободой мысли. И это было вдвойне удивительно,

учитывая, что роман на русский язык не переводился, а значит, Каленин читал его в подлиннике. А вскоре кто-то рассказал профессору, что тот самый Каленин, который написал блистательную статью про его роман, стажирется нынче в Боннском университете и намерен на днях посетить открытую лекцию профессора Ламсдорфа, посвященную внешней политике Советского Союза.

...Московского стажера он вычислил именно по майке, прославлявшей советский хоккей. Профессор широко раскинул длинные руки и, улыбаясь всеми частями своей физиономии, которая напоминала морду старого верблюда, вытянул в сторону Беркаса свои огромные влажные губы.

– Здравствуй, Каленин!!! – завопил профессор. – Долго эта херня будет продолжаться? – вполне сносно выговаривая русские слова, спросил он, а потом решительно хлопнул Беркаса по плечу и неожиданно вцепился ему в обе щеки, теребя их так, как это делают взрослые, когда хотят приласкать маленького щекастого карапуза. – Почему ты меня не нашел... – Немец на секунду задумался, пытаясь найти нужное русское слово, и, не найдя, вставил немецкое: – ...sofort<sup>8</sup>, скотина?! Ты уже два месяца в Бонне, а мы до сих пор с тобой не выпили!

Беркас ожидал от своего пребывания на немецкой чужбине чего угодно, кроме возможности услышать в стенах Боннского университета, где, как известно, учился сам Карл Маркс, знакомое слово «херня», которое было произнесено пожилым долговязым немцем. Но еще большее потрясение он испытал, когда почувствовал, как крепкие пальцы незнакомца бесцеремонно дергают его за щеки.

– Что вы делаете?! – заорал он по-русски, пытаясь увернуться от бесцеремонных объятий. – Кто вы, черт побери?

– Ты не знаешь меня? – абсолютно искренне удивился Якобсен и обидчиво зашевелил влажными губами. – Как же так, дружище?! Как ты можешь меня не знать?! Я старый Адольф! Ты же читал мой роман! Ты даже хвалил его, маленький распиздяй!

Беркас умоляюще взглянул на Ганса, и тот, быстро разобравшись в ситуации, шепнул ему:

– Это Якобсен! Тот самый... Не обращай внимания на его манеры... Он всегда так! Что он тебе сказал?

Переводить сказанное профессором Беркас, разумеется, не стал – главным образом потому, что абсолютно не представлял, как перевести на немецкий несколько ключевых русских слов, примененных экстравагантным литератором для усиления своих эмоций. Но на фамилию Якобсен среагировал тут же.

– Мистер Якобсен? – Он ловко увернулся от очередной попытки профессора дотянуться до его лица. – Я искренне рад с вами познакомиться! Я в восторге от вашего романа! Это сильная литература...

– Ну да, – перебил Якобсен, – только вы в Союзе Советских Социалистических Республик не хотите его издавать. Я даже знаю почему: вас смущает сцена изнасилования моей героини русским офицером. Так?... – Профессор вновь потянулся было к щеке Каленина, но передумал. – Вы и вправду будете слушать этого выскочку, Ламсдорфа? – неожиданно спросил он.

Каленин растерялся и не нашелся что ответить. Он снова умоляюще взглянул на Ганса, но тот, естественно, никак не мог принять участие в разговоре, который шел на русском языке.

– Тоже мне граф! Мать его за ступню! – Якобсен изобразил презрение, отчего верблюд в его исполнении сделался еще более надменным. – Эти немецкие графы все есть дети позора! Их предки воевали новые земли, а они их просрали! Давайте лучше сделаем по-вашему, по-русски: пойдем ко мне домой, выпьем водки и застанем мою жену... – Немец задумался. – ...расплюхом ее застанем. Так, кажется, по-русски?

---

<sup>8</sup> Сразу, тотчас (нем.).

Каленин окончательно растерялся и перевел Гансу предложение профессора, упустив подробности про немецких дворян. Тот пожал плечами, давая понять: мол, делай как знаешь.

Якобсен в свою очередь тоже обратился к Гансу, но уже по-немецки:

– Машина у меня двухместная, но сзади, за сиденьями, боком можно поместиться. Нашего русского гостя я посажу вперед, а вы сзади. Пошли! – Он решительно повернулся и двинулся к дверям. Каленин с Беккером переглянулись и покорно побрели за профессором, еще не представляя, что ждет их в ближайшие пятнадцать минут...

Каленин с восхищением взглядом опытного автомобилиста рассматривал внутренности спортивного «порше», в то время как Беккер, бурча что-то под нос, устраивался у него за спиной в маленьком пространстве между спинками сидений и крышкой багажника. Якобсен повернул ключ зажигания, и автомобиль, несколько раз рыкнув могучим нутром, сорвался с места.

Если уважаемый читатель не бывал в Бонне, то специально для него замечу, что городок этот счастливо пережил войну и сохранился в целости, являя собой пример классической планировки старого немецкого города с его узкими улочками. И поскольку профессор проживал в пригороде, то следующие десять минут его спортивный автомобиль как обезумевший метался по этим узким улочкам, спеша вырваться на оперативный простор. Все это время за спиной у Каленина раздавались нечленораздельные крики Беккера. В этих воплях иногда можно было разобрать отдельные слова – главным образом хилые немецкие ругательства и настойчивые предложения немедленно остановиться, так как бешеные разгоны и резкие торможения швыряли несчастного Ганса из стороны в сторону, ударяя о различные части его неудобного убежища. Каленин же сидел вдавленным в кресло и накрепко зажмурился всякий раз, когда казалось, что столкновение с углом дома или встречным автомобилем неизбежно. Но Якобсен вел машину на удивление точно и умело, а на крики несчастного Беккера реагировал так, что у Каленина от удивления глаза полезли из орбит.

– Молчи, немецкая сволочь! – орал профессор по-русски. – Москву они захотели взять! Х... вам, а не Москва!!! Дали вам русские просратья!!! И правильно сделали! На х... вы туда полезли? А?

– Что он говорит? – умоляюще спрашивал Беккер, каким-то образом догадываясь, что профессор говорит нечто адресованное именно ему.

– Я плохо понимаю... – смутился Каленин, не зная, как реагировать на нервные выкрики странного профессора. – Кажется, он ругает Гитлера...

– Нашел время! – взвыл Беккер, шлепаясь в очередной раз о стенку багажника. – Когда это кончится?!

– Что, плохо тебе?! – уже по-немецки вмешался в их диалог профессор. – Вот посиди там и почувствуй то, что чувствовали мы, когда нас русские погнали на запад!..

Машина уже покинула город, и на спидометре значилась скорость, заметно превышающая двести километров в час. Наконец автомобиль засвистел тормозами и уткнулся в ворота, которые автоматически разъехались. Двор перед внушительным двухэтажным особняком был ярко освещен. Профессор подрулил прямо к высокому мраморному пандусу, легко выпрыгнул из машины и помог выбраться Беккеру.

– Беркас, он хотел меня убить, – заорал Беккер, не обращая внимания на помощь профессора. – Он абсолютный псих! – Беккер пытался высвободить руку, но вырваться из цепких объятий профессора было вовсе не легко.

– Что здесь происходит? – раздался скрипучий женский голос, в котором явно прослушивались властные интонации. – Что еще натворил этот старый идиот? – На крыльце появилась инвалидная коляска, в которой гордо восседала хрупкая старушка. Она по-балетному прямо держала спину и тянула вверх и без того длинную шею. Волосы были тщательно уложены – волосок к волоску, словно дама только что покинула элитную парикмахерскую. На все проис-

ходящее женщина взидала холодно и презрительно. – Адольф! Немедленно отпусти молодого человека и вытри наконец слюни! Почти сорок лет живу с этим человеком и не могу приучить его следить за собой: у него вечно в уголках рта собирается пена. Я слышала, что это признак развивающегося слабоумия...

Беккер внимательно взглянул на профессора и кивнул: слюни действительно были.

– Магда, это господин Каленин из Москвы! – отозвался профессор. – Кстати, а как зовут этого господина? – Профессор, кажется, впервые внимательно, но сумрачно взглянул на Беккера, который к этому времени уже вырвался из его объятий и жался поближе к профессорше, рассчитывая в случае чего найти у нее защиту.

– Это господин Беккер, – немного робея, ответил Каленин. – Он доктор политологии...

– Доктор политологии? – возбужденно переспросил Якобсен. – Значит, правильно я ему врезал! Есть за что! Политологи – это недоучившиеся юристы. Как Ламсдорф! Есть среди них один серьезный человек! Майсснер! Да и того никто в глаза не видел! Магда! – обратился он к жене. – Сегодня мы будем вспоминать мой плен под Одессой и пить водку. Вы не сердитесь, мистер Беккер! – Якобсен примирительно обратился к Гансу, норовя ущипнуть его за щеку, чему тот всячески противился. – Не люблю немцев! Тем более политологов! Немцы – это нация завистливых и злобных ублюдков. Поэтому их ненавидит весь мир...

– Прекрати, Адольф! – вмешалась старуха. – Ты же сам немец!

– Вот именно! Где ты видела большего ублюдка, чем я?! – Профессор весело улыбнулся и широким жестом, направленным в сторону дома, пригласил: – Прошу! Водка у меня, правда, польская. Но это как раз единственное, что поляки делают хорошо.

...Вечер в доме профессора произвел на Каленина неизгладимое впечатление. Столько мата в единицу времени он не слышал за всю свою жизнь. При этом ему приходилось то и дело переводить спичи профессора, когда тот переходил на русский, причем однажды фрау Якобсен даже упрекнула его в неточности – это когда Беркас односложно перевел длинную тираду профессора, посвященную старшине Лыкову.

– Он очень пространно говорил об этом человеке, – удивилась она. – А вы уложили перевод в несколько слов.

Каленин замялся, но профессор тут же пришел ему на помощь:

– Магда! Это невозможно перевести иначе. Дословный перевод означал бы, что я имел с этим старшиной интимные отношения...

– Какой ужас, Адольф! Я не знала, что во время войны с тобой приключались и такие несчастья.

...Уже под занавес посиделок, когда раскрасневшаяся от водки хозяйка без стеснений поведала Каленину, что именно она послужила мужу прототипом героини его романа и пережила весь кошмар берлинской операции, Беркас случайно обронил, что совсем недавно ему о последних месяцах войны подробно рассказывала его хозяйка – фрау Шевалье. Это крайне редкая для Германии фамилия сразу вызвала у четы Якобсен ответную реакцию. Оба неожиданно замолчали, а профессор после неловкой паузы спросил:

– Вы знаете историю ее мужа?

– Без особых подробностей. Мне именно сегодня кое-что рассказал Ганс... – Каленин кивнул на Беккера. – Знаю, что с ним приключилась во время войны какая-то беда, а недавно он трагически умер.

Якобсен в очередной раз подозрительно оглядел Беккера и решительно произнес:

– Он был гений! Мы дружили, и последний раз виделись буквально за пару дней до его неожиданной кончины. Он был на удивление весел. Вы, вероятно, знаете, что он не разговаривал, то есть у него был паралич речи. Но в тот день я впервые за многие годы услышал, как он рассмеялся какой-то шутке. Он весь вечер улыбался, а потом через день вдруг узнаю – Герман умер!.. Он покончил жизнь самоубийством. Повесился прямо в своей клинике...



Якобсен неожиданно наклонился к Каленину и оскалился, выставив вперед зубы, которые выглядели абсолютно естественно.

– Вот! – Профессор пощелкал крепкими челюстями. – Это его работа! И никакого фарфорового Голливуда! Все естественно. Он мне даже мой естественный дефект воспроизвел: «зуб Турнера»<sup>9</sup>. Вот здесь! – Профессор, ничуть не стесняясь, задрал пальцем губу и показал маленький острый треугольник – вроде как осколок здорового зуба. – Говорю же, гений!

– Погодите! – заволновался Каленин. – Вы сказали, что он повесился в своей клинике. Но он же ее замуровал! Бог мой! Значит, он умер в моей квартире... Какой кошмар! То-то его жена предложила мне такие фантастические скидки за аренду жилья. Старая ведьма!

– Да бросьте вы нервничать! Разве важно, где он это сделал? Важно – почему!

– Не скажи, Адольф! – вмешалась жена профессора. – Покойник всегда оставляет следы после смерти. Так что будьте осторожны, молодой человек. – Она исподлобья взглянула на Каленина. – Может быть, по вашей спальне бродит дух старого Германа. Душа самоубийцы долго не успокаивается...

– Магда! Не говори глупости. Просто для нас с Магдой смерть Германа стала тяжелым потрясением. В свое время... – Профессор взглянул на жену: – Могу я рассказать об этом?

– Здесь нет тайны...

– В свое время Герман буквально из ничего слепил лицо Магды после автокатастрофы. Лица у нее практически не было: кости раздроблены, кожа сгорела, нижнюю челюсть фактически оторвало. А сейчас взгляните на мою красавицу! – Якобсен указал на жену. Каленин машинально перевел взгляд на лицо пожилой женщины и еще раз утвердился в том, что выглядит она для своих лет очень даже неплохо: ухоженная кожа, минимум морщин, ясный взгляд и никаких следов перенесенных операций.

– Жаль, что Герман не умел делать человеку новый позвоночник и ноги, – посетовала фрау профессор, указывая взглядом на инвалидную коляску.

– А что, разве расследования причин смерти не было? – неожиданно вмешался в разговор молчавший весь вечер Беккер. Каленин отметил, что с момента, когда речь зашла о покойном стоматологе, тот заметно оживился и стал внимательно слушать чету Якобсен.

– Вам тоже это интересно? – Профессор нервно забарабанил пальцами по столу, давая понять, что не приветствует участие Беккера в беседе. – Говорят, следствие не отметило ничего необычного. Записки не было. Официальная версия – самоубийство в состоянии депрессии. Хотя какая там депрессия? Говорю же, накануне он был необычайно жизнерадостен и весел. Ну, давайте – по-вашему, по-русски – выпьем за душу Германа. И пусть она успокоится на небесах!..

...В свой полуподвал Каленин вернулся в скверном настроении. Вскоре оно стало просто отвратительным. И дело было не только в том, что история недавнего самоубийства доктора не добавляла уюта этому жилищу. По некоторым признакам Беркас сразу же установил, что за время его отсутствия кто-то побывал в квартире.

Сначала он заметил, что на недавно купленном японском двухкассетнике была сбита настройка, установленная на радиоволну Москвы. Потом его взгляд упал на книгу Бориса Пастернака «Доктор Живаго», лежащую там же, где он ее оставил, в книжном шкафу, но раскрытую вовсе не на той странице, на которой остановился Беркас. Страницу эту он отлично запомнил...

«Может быть, ветер? – подумал Беркас. И сам же себя осадил: – Какой ветер в полуподвале с закрытыми окнами, да еще внутри книжного шкафа! Ну, допустим, внеурочно пришла Putzfrau<sup>10</sup>, хотя сегодня не ее день. Но затевать уборку на ночь глядя – чушь! Ага! Вот еще один

---

<sup>9</sup> Дефект зубной эмали, влекущий изменение формы зуба.

<sup>10</sup> Домработница (нем.).

след! Отлично помню, что куртку вешал в шкаф молнией к задней стенке. А сейчас она висит наоборот. Черт побери! Кто-то явно рылся в моих вещах! Кто-то шарил в ящиках! Но зачем?! Кому нужны мои книги, мои тряпки? Надо завтра же переговорить с хозяйкой! А может быть, и съехать из этого дома! Хозяйка! Фрау Шевалье! Может быть, это она роется в его вещах?»

Каленин вспомнил недавний сон, и ему вновь стало не по себе. Он двинулся на кухню и включил чайник. Ему почему-то не хотелось оставаться в кабинете, и он решил почитать при ярком свете за маленьким кухонным столиком. Беркас вернулся, открыл книжный шкаф, потянулся за книгой и вдруг, потеряв равновесие, сильно оперся рукой на заднюю стенку, которая неожиданно отделилась от каркаса шкафа и отодвинулась вглубь сантиметров на десять. Откуда-то повеяло холодным воздухом. Каленин растерянно заглядывал внутрь, не понимая, как может задняя стенка шкафа продавить кирпичную кладку. Раздумывая над этим вопросом, он еще раз сильно надавил на фанеру двумя руками, и стена снова подалась дальше вглубь, открывая замаскированный вход в помещение, которое располагалось за стеной.

Беркас застыл, чувствуя, как сердце болезненно бьется где-то в области горла. Дыхание сделалось частым и хриплым. Было ужасно страшно. Но любопытство перебороло страх, и он, быстро выложив на пол книги и аккуратно вынув книжные полки, решительно шагнул в шкаф, с облегчением ощущая, что в кулаке у него зажат коробок спичек, который он только что использовал для разжигания газовой плиты...

Попытка найти выключатель ничем не увенчалась. Да к тому же Каленин вовремя подумал, что если он зажжет свет, то это сразу будет видно с улицы. С одной стороны, в этом не было ничего особенного. В конце концов, он обнаружил потайную дверь случайно и его ночное проникновение в пустующее помещение не сильно нарушало правила приличия. С другой, было во всем этом что-то тревожное, и ему не очень хотелось, чтобы в эту минуту его обнаружили и спросили, что он делает в комнатах, где еще недавно принимал пациентов покойный доктор.

...Коробок спичек почти закончился, и с каждой гаснущей спичкой Беркас испытывал нарастающее чувство разочарования: он увидел почти пустое помещение, подготовленное к будущему ремонту. Мебель вся вынесена, кое-где по углам лежал аккуратно собранный в кучи мусор – обрывки бумаг, какие-то стеклянные банки, упаковки от лекарств. На стенах висели многочисленные обветшавшие плакаты, обещавшие пациентам быстрое избавление от кариеса и разъяснявшие, как пользоваться зубной пастой. Одним словом, ничего интересного.

Главный вопрос, поддерживавший его любопытство и заставлявший продолжать осмотр, состоял в том, что покойный или кто-то другой – возможно, сама фрау Шевалье – для чего-то замаскировал потайную дверь в пустующее помещение. Какой смысл в том, чтобы закрывать дверь книжным шкафом да еще маскировать ее под стену? Ведь Беркас успел заметить, что со стороны его спальни дверь выглядела как часть стены и была аккуратно обклеена обоями. Зачем? Какая-то тайна за всем этим ощущалась, и Беркас хотел ее открыть. Но тайна не давалась. Все выглядело ровно так, как и должно было выглядеть: пахло нежилой сыростью, а каждый шаг отдавался гулкой пустотой.

Каленин нащупал в коробке две последние спички и двинулся назад. Вот и дверь, за которой видна тонкая полоска тусклого света, пробивавшаяся из кабинета. Беркас чиркнул очередной спичкой и в ее пляшущих всполохах увидел то, чего не заметил, когда проникал в заброшенную клинику. Справа от двери, прямо на кофейного цвета обоях, углем был нарисован портрет женщины.

Беркас без труда узнал свою хозяйку, фрау Шевалье, только на рисунке она выглядела лет на сорок моложе. Увидев ее впервые, Каленин сразу почувствовал, что в прошлом она, судя по всему, была чудо как хороша собой. Но рисунок привлекал внимание не только тем, что автору, безусловно, удалось передать броскую красоту изображенной женщины. Необычным было то, что она смотрела со стены как бы через обращенную к зрителю ладонь. Ладонь была выставлена вперед и, казалось, должна закрывать значительную часть лица, но художник изоб-

разил ее прозрачной, поэтому прямо за ней ясно читались немного капризные пухлые губы, очаровательная ямочка на подбородке, тонкий изящный нос с небольшой горбинкой. Каленин успел разглядеть, что на ладони есть едва заметная паутинка линий – то есть рисунок, по которому принято предсказывать человеческую судьбу.

Последняя спичка сломалась при попытке зажечь ее, и, оказавшись в кромешной тьме, Каленин сделал шаг к выходу, который обозначала скудная полоска света. В тот момент, когда низкая дверь, противно скрипнув, открылась, Беркас ясно почувствовал, что в его квартире кто-то есть. Кажется, он ощутил сладкий запах духов. Каленин с замиранием сердца шагнул с тыльной стороны в книжный шкаф и услышал густой низкий голос Констанции Шевалье:

– Надеюсь, вам понравился мой портрет? Герман был не только гениальный врач, но еще и талантливый художник...

## Москва, ...мая 1986 года. Выстрел в живот

...Лера Старосельская ненавидела мужчин – всех вместе и каждого в отдельности. Она делала исключение только для Гавриила Дьякова, в которого влюбилась еще молоденькой аспиранткой. Любовь эта была безответной, так как Дьяков Лериных чувств принципиально не замечал. После своего юношеского неудачного брака Гавриил Христофорович к особам женского пола относился крайне настороженно.

Гавриил был тихим отличником, очень стеснявшимся и своих студенческих успехов, и ранней полноты, которая делала его похожим на розовощекого первоклассника и начисто, как ему казалось, исключала возможность нравиться однокурсникам. Поэтому, заметив однажды, что ему выказывает знаки внимания первая красавица курса Алиса Руссова, Гавриил Дьяков испугался этого настолько сильно, что попал с нервным расстройством в больницу, где вскоре подхватил еще и свинку...

Только через месяц он смог снова приступить к учебе и появился на лекции бледный и похудевший килограммов на пять, причем болезнь отнюдь не добавила ему внешней привлекательности, так как привела к отвисанию пухлых щек и сделала его похожим на грустного и немного обтрепанного английского бульдога. В этот же день Алиса демонстративно села на лекции рядом с ним и предложила подать заявление в ЗАГС.

Алиса не скрывала, что выбрала Дьякова в мужа из холодного расчета.

Во-первых, москвич, проживающий вдвоем с мамой в двухкомнатной квартире в доме послевоенной сталинской постройки, – это уже хорошая пара.

Во-вторых, отличник, которому светит аспирантура и быстрая карьера вузовского преподавателя, – к тридцати годам получит доцента, к сорока станет профессором, а может быть, и заведующим кафедрой. А это уже рублей пятьсот пятьдесят в месяц новыми плюс всякие там статьи, платные лекции по линии общества «Знание», почасовые за участие в работе экзаменационных комиссий в других вузах, аспиранты и прочие докторанты – на круг получится уже рублей семьсот. Огромные деньги! На такие деньжищи можно было очень даже неплохо устроить жизнь в Москве – купить, к примеру, «Победу», а может быть, даже красавицу «Волгу» с оленем на капоте.

Алиса жмурилась от сладостных мечтаний и настойчиво учила «своего Гаврюшу» жизненным премудростям: к примеру, указывала на необходимость заниматься общественной работой, втолковывая ему – человеку, погруженному в исследования экономики стран Ближнего и Среднего Востока, – что без общественной работы его карьера будет не такой успешной, как того хотелось бы.

На почве приобщения Гавриила Христофоровича к общественной работе и произошел конфуз, изменивший всю его жизнь. А случилось вот что: Гавриилу Христофоровичу, который по протекции активной супруги стал на пятом курсе членом студенческого профкома МГУ, было поручено организовать прием молодежной студенческой делегации из Египта. С Египтом в то время была большая дружба. Дружили главным образом на почве строительства Асуанской плотины, совместной борьбы с израильскими агрессорами и противостояния проискам американского империализма.

Выбор Гавриила Христофоровича на роль главного распорядителя приема высокопоставленной молодежной делегации из братского Египта был отнюдь не случаен. Он в научном плане занимался именно этим регионом и даже немного знал арабский язык. Но мало кто догадывался о том, что этот выбор – вольно или невольно – затронул, так сказать, деликатную сторону личной жизни Гавриила Христофоровича. Дело в том, что его отца звали Хамид Эркан и был он этническим турком. Мама, Раиса Адамовна Дьякова, была Дьяковой по фамилии первого мужа, а в девичестве имела фамилию Гейфман.

Отца своего Гавриил не помнил: он куда-то сгинул, когда мальчику было года три, – поэтому отчество Гавриилу определили не Хамидович, а Христофорович, фамилию записали по матери, и все это не имело бы в жизни Гавриила Христофоровича ровно никакого значения и никто никогда этой страницей его биографии не заинтересовался бы, пока не случилась в Москве эта дурацкая египетская делегация.

Гавриил, вникая во все тонкости визита, обратил внимание на то, что на обед, организованный в студенческой столовой, египетским гостям должны были подать котлеты. Дьяков не поленился поинтересоваться, из какого мяса будут котлеты, а когда его вместе с его вопросом послали куда подальше, то рискнул письменно проинформировать о своих сомнениях университетский партком. Там тоже его сомнениям значения не придали, а тревожную записку выбросили в мусорную корзину.

Через пару дней разгорелся грандиозный скандал, докатившийся глухим эхом до международного отдела ЦК партии. Египтяне наотрез отказались есть мясо сомнительного происхождения, не без оснований заподозрив наличие в нем свинины. Обед был сорван. Египтяне обиделись. А Дьякова вызвали в партком для объяснений. Когда же он в недоумении напомнил старшим товарищам о том, что он их о возможных последствиях котлетного скандала предупреждал, то те в ответ, защищая собственную задницу, обвинили во всех грехах самого Дьякова. Мол, это он сам «стукнул» египтянам про свинину. А иначе как бы, мол, они, египтяне, самостоятельно, без наводки, могли отличить свинину от несвинины.

Тут же какие-то доброхоты сообщили, что Дьяков вовсе и не Дьяков, а Эркан, а может быть, даже Гейфман. Ах, Гейфман, обрадовались в парткоме! Тогда понятно, почему он затеял разрушение советско-египетской дружбы! Ах, Эркан, возликовали там же! Значит, проявляя мусульманскую солидарность, Дьяков сознательно уберег египтян от употребления свиного мяса. Короче, за такие грехи в то время уже не сажали, а вот из комсомола и, разумеется, из студенческого профкома Дьякова поперли с формулировкой «за проявленную политическую близорукость».

С этого момента в его жизни наступила бесконечная черная полоса. Дьякова, несмотря на красный диплом, не взяли в аспирантуру. Оказалась закрытой дорога и для вступления в партию, без чего даже мечтать об удачной карьере ученого-гуманитария было невозможно. Одним словом, жизнь не заладилась, хотя молодой ученый буквально грыз свою скучную науку, дабы занять хоть какое-то мало-мальски пристойное место под солнцем.

Алиса сбежала от Гавриила через год совместной жизни, посчитав, что своими женскими прелестями она может распорядиться с гораздо большим толком. А Гавриил тем временем начал свою трудную жизнь в вузе, карабкаясь вверх намного медленнее и прилагая к этому гораздо больше усилий, чем его более удачливые сверстники, не имевшие и десятой доли его талантов.

Но как бы то ни было, к сорока годам Гавриил Христофорович все положенные ступеньки прошел и занял должность заведующего кафедрой экономической истории, что уже было почти подвигом, учитывая его беспартийность и тянувшийся шлейф политической ненадежности. К этому времени физический вес Гавриила Христофоровича равнялся ста двадцати килограммам, он страдал ишемической болезнью сердца и гипертонией, был малозанятен в общественной жизни вуза, хотя много печатался и выпустил несколько монографий, вызвавших интерес в ученых кругах.

Вот в такого Гавриила Харитоновича Дьякова и влюбилась Лера Старосельская, которая считала его человеком трудной судьбы, пострадавшим за свои политические убеждения. Свои чувства Лера, разумеется, скрывала как могла. Она даже в мыслях не допускала возможности признания Дьякову в любви, тем более что всех остальных мужчин Лера рисовала одной черной краской и серьезно подозревала в плохо скрываемых намерениях при случае покуситься на ее, Лерину, непорочную девичью честь.

Лера была женщиной неопределенного возраста, но одевалась и выглядела так, что иногда ее сверстницы уступали ей место в трамвае. Она искренне считала, что главными достоинствами женщины являются ум и начитанность, и именно это, по ее мнению, могло обеспечить любой женщине успех практически у любого мужчины – если, конечно, он тоже умен и начитан. И в этом Лерином убеждении не было никакой позы, никакого желания скрыть под бравадой собственную застенчивость и грустное осознание своей очевидной невостребованности особыми мужского пола. Она была искренне уверена в том, что ею интересуются толпы мужчин, которых она, со своей стороны, гордо не замечает в силу их пустейшей натуры и физиологической отвратительности.

– Вы только посмотрите на это убожество с кафедры научного коммунизма! – презрительно говорила она секретарше Дьякова. – Представляете, он сегодня ворвался к нам на кафедру, когда я была там совершенно одна, и знаете, о чем спросил?...

Секретарша, которая подобных Лериных историй слышала великое множество, продолжала стучать на машинке, перепечатывая набело рукопись очередной статьи Дьякова. Она только неопределенно хмыкнула, что Лера и приняла за желание услышать историю дальше.

– ...Он заходит не здороваясь и, представляете, ведет себя так вызывающе, что вприору звонить в милицию.

Секретарша стрельнула глазом на Леру – мол, не томи, скажи скорее, что сделал сей Казанова.

– Он подошел прямо ко мне, сел прямо напротив меня, сел так близко, что я почувствовала запах его одеколона и, кажется, пота! И противно так спрашивает: «Извините, не помню вашего имени и отчества»... Представляете, он хочет таким образом вызвать меня на разговор, а я, естественно, презрительно смотрю на него и молчу. Так вот, он говорит: «...не помню вашего имени и отчества, да это, собственно, и не важно...» Нахал! «...но вы должны мне помочь!» Представляете, я ему что-то должна! Подонок! А он: «Нельзя ли с кем-нибудь из ваших поменяться в среду аудиторией?» А сам не отрываясь рассматривает мою грудь! Представляете, какой негодай?

На слове «грудь» секретарша бросила печатать и внимательно посмотрела на многочисленные выпуклости, которые располагались в том месте Лериного большого тела, где анатомически как раз и должна была находиться грудь. Потом вздохнула и снова принялась тарабанить по клавишам.

...Лера пришла на заседание президиума «Гражданского форума в поддержку Михаила Горбачева» – сокращенно ГРАФМИГ, – чтобы поговорить с Дьяковым, которого она не видела с того злополучного вечера, когда выразила ему свой политический протест при помощи трех тяжелых затрецин по физиономии. В конце концов, он должен понять ее порыв, ее спонтанную реакцию. Ведь она всю жизнь уважала его за принципиальность, за то, что он не склонил свою седую голову перед режимом, за дух протеста и бескомпромиссность, за настоящую мужскую отвагу, наконец! Она слышала эту чудовищную историю, которую ей под большим секретом поведала секретарша Дьякова, – про то, как он отказался по политическим соображениям организовывать прием египетской делегации в знак протеста против политики Советского Союза на Ближнем Востоке. И это в самом начале шестидесятых! Всего десять лет миновало со смерти Сталина – и он, Гавриил, решился на такой поступок. Он был первым диссидентом в стране! Это уже после Дьякова вышли смельчаки на Красную площадь протестовать против ввода танков в Прагу! Это уже потом Ростропович приютил у себя Солженицына, а Сахаров получил Нобелевскую премию мира за свою негибаемую позицию в борьбе с коммунистическим произволом! Буковский, Войнович, нынешний бунтарь из Краснодара Беляев, который на днях выступил с разгромной антигорбачевской речью, – все они выросли из «дьяковской диссидентской шинели».

Естественно, она не могла понять мотивов, по которым Дьяков возглавил этот форум. Это было так гадко, так низко!!! Особенно омерзительно было видеть его лицо на экране телевизора! Эти его сладкие речи! Этот отвратительный пафос! Как он мог? Он предал ее! Ее любовь. Ее веру в него!..

Тут как раз Лерины мысли нарушила суeta на сцене, которая была оформлена весьма необычно. Вместо привычного «Решения... съезда КПСС – в жизнь!» задник был украшен огромной фотографией Горбачева в окружении восхищенно разглядывающих его женщин различных профессий: здесь угадывались доярки и врачи, учителя и балерины. А над фотографией, во всю ширину сцены, значился лозунг «Если ускоряться, то быстро!», причем буквы были смелого голубого цвета, а сам лозунг закавычен – значит, это была цитата, принадлежащая, видимо, главному герою фотографии.

В центре сцены стоял длинный стол, застеленный красным кумачом. Появился Дьяков в сопровождении грустно улыбающегося невысокого мужичка, в котором присутствующие узнали ставшего за последний месяц знаменитым на всю страну главного редактора журнала «Фара ускорения» Виталия Длиннича. В зале раздались аплодисменты.

Дьяков тем временем с удивлением разглядывал задник сцены, потом, демонстрируя явное недовольство, покачал головой и обратился в зал:

– Здравствуйте, товарищи! Интересно, кто придумал вот это? – И не оборачиваясь показал большим пальцем за спину. – Времена меняются! Партия обновляется! А мы все те же! Я предлагаю раз и навсегда отказаться от этих вот столов на сцене, от начальников и подчиненных... От этих глупостей... – Он осекся, понимая, что зашел слишком далеко, так как глупость, если она сказана генеральным секретарем ЦК КПСС, в то время глупостью считаться ну никак не могла!

На этой фразе в притихшем зале громко брякнула дверь и появилась живописная группа молодых людей, которая двинулась в сторону президиума. Впереди шел симпатичный высокий парень, лицо которого показалось Дьякову знакомым. Он присмотрелся и понял, что видел это лицо накануне вечером на упаковке маргарина, которую домработница Клава забыла возле плиты.

«Маргарин Говдань, – вспомнил Дьяков. – Ах, точно! Он же, этот Говдань, тоже избран членом президиума форума».

– Товарищ Говдань! Здравствуйте! – поприветствовал Дьяков гостя. – Проходите... а кто это с вами? Там что-то много с вами людей.

– Это моя охрана! – небрежно ответил Говдань. – Я без нее никуда не хожу, даже в туалет. Да они все равно ничего не понимают в наших делах. Посидят тут в углу... Эй, орлы! – грозно обратился он к угрюмым пацанам, похожим друг на друга как близнецы. – Чипсами не шуршать, сидеть тихо! А ты, – обратился он к одному из них, – если еще раз наденешь кроссовки на босу ногу – уволю! От тебя воняет как от казармы на сто человек...

Дьяков не нашелся что сказать и решил: «Черт с ними, пусть сидят, хотя вид у них какой-то уж больно свирепый: все бритые наголо, с цепями на животе. Надо будет потом сказать телевизионщикам, чтобы вырезали их вместе с этим «маргарином», и больше его не приглашать». А вслух продолжил прерванную мысль:

– ...Тем более что в стране полным ходом идут выборы руководителей предприятий. Представляете, товарищи! Народ сам выбирает своих директоров, решением трудового коллектива. К примеру, на одном из крупнейших предприятий Перми люди отказали в доверии бывшему директору, который сидел в своем кресле около двадцати лет. Представляете! Двадцать лет, как пробка в горлышке, никого не пускал на свое место! Новым директором решением общего собрания трудового коллектива избран молодой перспективный руководитель. Мы пригласили его поучаствовать в нашем заседании, он должен был приехать...

Тут Длиннич что-то тихо сказал Дьякову. Тот смутился и торопливой скороговоркой уточнил:

– Заболел наш новоизбранный директор<sup>11</sup>! Но, как только поправится, мы его тут же вам представим и, надеюсь, введем в руководство форума. А теперь, как договорились, – без всяких президиумов. Я спускаюсь в зал и хочу вас друг другу представить, так как не все члены нашего руководящего органа знакомы друг с другом.

Дьяков с микрофоном в руках тяжело спустился в зал и стал неуклюже протискиваться между сценой и первым рядом, причем его огромный живот заставлял всех сидящих далеко откидывать голову.

– Начну с Владимира Сергеевича Сладкоухина. – Дьяков остановился напротив мужчины, лицо которого можно было бы назвать стертым. Оно было какое-то незапоминающееся. Вроде лицо есть, а сказать о нем что-то определенное невозможно. – Его, надеюсь, представлять никому не надо?! – то ли спросил, то ли объявил Гавриил Христофорович. – Глыбища! Мастер слова, так сказать! Сейчас он работает над сборником эссе на исторические темы. Уверю вас, это будет политическая бомба. Так, Владимир Сергеевич?

«Мастер слова» степенно поднялся и раскланялся. Это был плотный мужичок невысокого роста, на лице которого начисто отсутствовала растительность – то есть не было ни ресниц, ни бровей. Заявление Дьякова о том, что писателя представлять не надо, привело большинство участников высокого собрания в замешательство, так как писатель был им незнаком. А те, что слышали фамилию Сладкоухин, решительно не могли вспомнить ничего такого, что позволяло бы объявить его известным писателем, но публично признаться в неведении относительно талантов человека, попавшего в состав руководства форума в поддержку стремительных демократических перемен, никто не посмел. Все, напротив, стали внутренне корить себя за то, что не знакомы с творчеством представленного Дьяковым писателя.

«Сладкоухин?! Ну как же, как же! Это не тот ли, что написал про ужасы голодомора на Украине? Ах да, про голодомор это не он написал. Тогда про Фрунзе! Как его прямо на операционном столе! Лично!!!..Что, тоже не он? Ах, ну да! Тот Пильняк! А этот тогда про какие ужасы советского режима написал? Как вы сказали? «Черные плиты»? Знаете, не читал, к сожалению... Как же я так? Пропустил, значит...»

Писатель между тем удовлетворенно крякнул и густым басом, сильно окая, пояснил:

– Эвон, как повернулось все! Проснулся народец наш! Пробудился, родимый! Это будет выход народного гнева! Котарсис, простите великодушно за нерусское слово! Там – в книжке моей – знаете что? Там будет отвратительный Ленин! Мелкий человечешко! Клоп истории!..

– А как же Каутский? – прозвучало из зала.

– Что Каутский? – переспросил Гавриил Христофорович, выискивая автора неожиданного вопроса. «Говданы! – догадался он. – Не надо было его приглашать!» А вслух уточнил: – А при чем тут Каутский, товарищ Говданы?

– У меня в книге про Каутского ничего нет! – вмешался в диалог писатель. – У меня про Ленина...

– Вот я и говорю, – продолжил человек с маргариновой обертки, – Каутский утверждал: «Только идиот может отрицать величие Ленина как политика!» Так, кажется... А он Ленина уж точно не любил. Как же тогда ваши слова про клопа истории?...

Писатель насупился.

– Я провел исследование, – обидчиво пробасил он. – Не знаете, тогда и не говорите!

---

<sup>11</sup> Эта трагикомическая история обошла все центральные газеты. Директором предприятия был избран человек, которого на следующий же день после выборов жена отправила в психиатрическую клинику – что, собственно, делала каждую весну в период обострения хронического заболевания супруга.



– Эй! – неожиданно послышалось из рядов охранников Говданы. – Ты, борзый, полегче на поворотах! Это кто не знает? Шеф наш??? Да я тебя...

– Сидеть!!! – рывкнул Говдань. – Тут научный спор, а не разборка. Так про что книга-то? – насмешливо обратился он к писателю и демонстративно положил ноги на спинку кресла перед собой. При этом все обратили внимание на то, что на чистейших подошвах черных лакированных ботинок было фабричным способом выбито «Govdan».

– Значит, так, – начал Сладкоухин...

– Не надо, Владимир Сергеевич! – торопливо остановил его Дьяков. – Книгу за пять минут не расскажешь. Вы только про главное...

– Если про главное, – раскраснелся писатель, – то это будет бомба! Комета, взрывающая мозги человеческие! Ленин у меня будет несчастных зайцев убивать!..Десятками, товарищи! Десятками! Кокково?! А?!

В зале кто-то зааплодировал. Дьяков встал, прищурился в темноту и по толстым линиям, по запоминающимся очертаниям фигуры узнал Леру, которая стояла и хлопала в ладоши над головой – как это делают пионеры, когда хотят выразить особое одобрение по поводу происходящего.

– Валерия Ильинична! А вас кто сюда пригласил? Кто пустил сюда эту женщину?! – грозно обратился в зал Гавриил Христофорович.

– Я сама сюда пришла! – отважно ответила Старосельская.

Дьяков понял бессмысленность собственного гнева и безнадежно махнул рукой – мол, куда тут деваться, раз пришла. Он животом подтолкнул писателя, и тот неуклюже плюхнулся на свое место.

Гавриил Христофорович попытался двинуться дальше, но передумал и просто ткнул микрофоном во второй ряд, прямо над головой пытящего от возбуждения литератора.

– Николай Сергеевич! Подымитесь, голубчик! Дайте пожму вашу мужественную руку! – Дьяков обменялся рукопожатиями с симпатичным офицером в погонах полковника. – Товарищи! А это Николай Сергеевич Плотников! Тот самый.

В зале зааплодировали – теперь уже несколько человек сразу.

– ...Николай Сергеевич, как вы знаете, отослал свой партбилет Михаилу Семеновичу Горбачеву! Но, товарищи, Михаил Семенович билет Николаю Сергеевичу вернул! Более того – похвалил за смелость и буквально два дня назад повысил Николая Сергеевича в звании. До полковника! Поприветствуем, товарищи, это справедливое и смелое решение нашего генерального секретаря, товарища Михаила Семеновича Горбачева.

Снова раздались аплодисменты...

– Но это еще не все, товарищи! Нашему героическому офицеру предложена работа в аппарате ЦК КПСС. Со вчерашнего дня Николай Сергеевич заместитель заведующего идеологическим отделом Центрального комитета нашей коммунистической партии. Видите, товарищи! Вот вам и пример, как обновляется наша партия. Прямо на глазах! Скажете нам что-нибудь, Николай Сергеевич?

Офицер поднялся, привычным жестом одернул за обе полы китель и хорошо поставленным голосом произнес:

– Я благодарю судьбу, что живу в это великое время! Всем нам выпал уникальный исторический шанс разрушить эту... – офицер задумался, – эту империю зла!..

– Где-то я уже слышал про империю зла! – снова вмешался Говдань и тут же, заметив, что один из охранников двинулся к полковнику, гаркнул: – А ну сядь!!! Это он не про меня, дубина!

– Так обидно же, Владимир Эдуардович! Обзывается же!

– Сядь, говорю! Он не сам придумал. Американца одного цитирует...

– Что он с американцем делает? – удивился охранник.

– Да ну тебя! – махнул рукой Говдань. – Вы, товарищ полковник, хотя бы не так откровенно! Про империю зла! А то скоро выяснится, что мы и Вторую мировую войну развязали, и пигмеев в Африке обижаем.

– Не надо, друзья! Не ссорьтесь! – примирительно заговорил Гавриил Христофорович. – Ну какие там пигмеи, Владимир Эдуардович! А вот по поводу Мировой войны, знаете ли, споры уже идут. Но в главном – все мы здесь единомышленники! В главном...

– А вот и нет! – раздался звонкий голос Леры Старосельской. – Я думаю иначе! Вы лизоблюды и сатрапы!

Тут снова подскочил охранник Говданя, а Дьяков, махнув рукой – мол, не обращайтесь внимания, – двинулся по ряду дальше.

– Позвольте вам представить, товарищи! – Гавриил Христофорович надсадно запыхтел, пытаясь разместиться на маленьком пространстве вместе с пожилым седовласым мужчиной, отличавшимся от всех присутствующих тем, что вместо галстука у него на шее была повязана изящная черная бабочка. – Этого человека никто пока не знает. Потому что он скромный учитель немецкого языка из Эстонии. Арнольд Янович Рейльян! Он сегодня подписал обращение в адрес генерального секретаря и нашего форума с предложением узаконить Народный фронт Эстонии как демократическую инициативу народных масс! Арнольд Янович, собственно, и был одним из инициаторов создания Народного фронта.

– А чем будет заниматься этот Народный фронт? – снова послышался надоедливый голос маргаринового короля.

– Я отвечу! – обернулся к залу Рейльян. – Отвечу! Эта организация ставит своей целью возродить интерес граждан Эстонии к собственной истории, культуре, языку...

– А что, есть проблемы с языком? – проявил настойчивость Говдань.

– Есть, конечно! – качнул сединой Рейльян. – Делопроизводство ведется на русском. Мало школ с преподаванием на эстонском языке. Мы, эстонцы, как известно, очень свободолюбивы, в нас жива память об эстонской государственности, и поэтому настаиваем на уважении к себе. Мы не хотим, чтобы наша качественная сельскохозяйственная продукция без всякой выгоды для нас вывозилась в Москву...

Тут уже даже Дьяков не выдержал:

– Арнольд Янович! Помилуйте! Ну какая там государственность, какая продукция?! Я же ученый и знаю, что ничего такого в природе нет, о чем вы тут говорите...

– Ну и что? – холодно взглянул на него Рейльян. – В политике важна не истина, а ее муляж. Вот мы такой муляж и предложим эстонцам. Про ужасы советской оккупации, к примеру! Бронзового солдата на центральной площади Таллина снесем. Мне лично очень хочется его своими руками... Хорошо бы петлю на шею и с корнем из земли! На помойку! Навсегда!!!

В зале повисла тягостная пауза, поскольку никто от старого эстонца такой прыти не ожидал. Установившуюся тягостную тишину взорвала неумная Лера Старосельская.

– Господа! – обратилась она к залу, и это тревожное обращение, непривычное уху присутствующих, заставило заерзать маститого писателя, обещавшего смелый сюжет про Ленина и зайцев. – Господа! – снова произнесла Лера. – О чем вы думаете! Господа! При чем тут бронзовый солдат?! О другом надо говорить! Вот смотрите, на днях даже первый секретарь Краснодарского крайкома Беляев сказал Горбачеву о том, какая мерзость эта ваша КПСС! Не побоялся! А вы?! Вы лижете лысую жопу этому Горбачеву!

– Валерия Ильинична!!! – взвился Дьяков. – Мало того что вы проникли сюда незаконно, так еще и обзываетесь. Покиньте зал! Извините, товарищи! Эта женщина – она не в себе! На днях напала на меня. Честное слово! Напала и ударила по лицу. Ну, больная!!! Покиньте зал, я сказал!

Дьяков замолчал, ожидая, что Лера наконец образумится и инцидент на этом завершится. Но не тут-то было!

– А вот это – видал?! – Лера задорно рассмеялась и выставила вперед кукиш... – Видал?! Коллаборационист!!! Гапон!!! Маршал Петен!!! Иуда!!! – Лера на секунду задумалась, так как список оскорблений показался ей недостаточно внушительным. – Янычар кровавый!!! – неожиданно выкрикнула она.

– Почему, собственно, янычар? – растерялся Дьяков и густо покраснел, усмотрев в Лерином выкрике намек на свое турецкое происхождение.

Между тем все с интересом ждали, чем кончится этот необычный поворот событий. Маститый писатель даже приподнялся и начал что-то лихорадочно писать в блокноте. Бравый полковник, напротив, решительно надел фуражку и, буркнув про себя: «Ну, знаете ли!..» – стал протискиваться к выходу.

Лера же сунула руку в свое необъятное декольте и выхватила стопку исписанной бумаги.

– Я хочу, чтобы все прочли это! – звонко крикнула она. Потом огляделась по сторонам, ища короткий путь к сцене, и решительно стала перебираться через перегораживающий ей дорогу ряд кресел. Навалившись грудью на ближайшее, она одним махом перекинула через него свое вместительное тело, однако сделала это настолько неловко, что ногой нанесла сокрушительный удар в ухо сидевшему на этом ряду Владимиру Эдуардовичу Говданю. Охнув, тот рухнул в проход между рядами.

Охранники Говданя дружно вскочили со своих мест, но тут же сообразили, что быстро пробраться к упавшему в проход охраняемому объекту им не удастся. Тогда один из них не нашел ничего лучшего, как выхватить откуда-то из недр своего малинового пиджака пистолет.

– Не надо!!! – успел что было сил крикнуть Дьяков, но его вопль совпал с выстрелом, который в замкнутом пространстве прозвучал необычайно громко.

Пуля ударила в деревянную ручку кресла, возле которого пыхтела Лера, пытаясь взять следующее препятствие. Щепки от пробитого кресла брызнули в разные стороны, а самый большой кусок ударил Старосельскую прямо в живот.

– Ой! – вскрикнула она и уставилась на свою ладонь, на которой посверкивало несколько капелек крови. – Меня, кажется, убили... – Лера вопросительно взглянула на Дьякова, качнулась и тоже грохнулась в пролет между креслами, накрыв собой появившееся снизу лицо с маргаиновой обертки...

## Бонн, ...апреля 1985 года. Зашифрованный портрет

Беркас Каленин потерял сон. В самом прямом смысле. Сон куда-то делся сразу после ночного посещения заброшенной клиники покойного Германа Шевалье. Самым правильным поступком в этой ситуации было бы как можно скорее съехать на новую квартиру – куда-нибудь поближе к университету, где добросовестный Каленин бывал каждодневно. Но сон-то пропал именно потому, что вся эта чертовщина была крайне любопытна.

В том ночном разговоре хозяйка квартиры призналась, что в последнее время регулярно ходит через комнату Каленина в помещение заброшенной клиники. А значит, навязчивый сон, мучивший его, был близок к реальности.

Она поведала Каленину, что буквально через неделю после того, как мистер Куприн – тот, что из советского посольства, – договорился с ней о найме жилья, на что она согласилась без особой охоты, так как не собиралась сдавать свой подвал... Но мистер Куприн уговорил ее, объяснив, что у советских стажеров не так много средств, чтобы снимать хорошее жилье, а вот полуподвал за триста марок в месяц – это в самый раз. К тому же мистер Куприн очень лестно отозвался о мистере Каленине – мол, литератор, ученый, великолепно владеет немецким языком. И она действительно смогла быстро убедиться в том, что мистер Каленин (она, разумеется, говорила не «мистер Каленин», а «Herr Kalenin», но передать это немецкое словосочетание в русском звучании очень непросто: напишешь «хер» – выйдет непристойность, а скажешь «гер» – никто не поймет, о чем речь)... что мистер Каленин человек в высшей степени воспитанный и приятный.

Ровно через неделю после сдачи жилья внаем, а надо сказать, что накануне заселения мистера Каленина в его квартирке был сделан ремонт и дверь в злополучную клинику заклеили обоями и даже заблокировали книжным шкафом, так как она, фрау Шевалье, уже твердо решила для себя, что больше не будет туда ходить. Так вот, ровно через неделю после знакомства с мистером Калениным ей приходит письмо. И знаете, от кого было это письмо? От покойного мужа, от доктора Германа Шевалье!

– Нет, не думайте! Разумеется, тут нет никакой мистики: мужа я лично оплакала и собрала в последний путь. В том, что он умер и на момент появления письма находился в том далеком мире, откуда не возвращаются, у меня нет сомнений. Несчастный Герман совершил кошмарный поступок. Это, конечно же, было как-то связано с его умопомрачением – тогда, в далеком сорок пятом году. Что-то нашло на него. И он сам ушел из жизни. Он даже не стал для этого ничего особенного придумывать: взял поводок нашего маленького Томми, когда вернулся с ним после прогулки, запустил песика в подъезд, а сам спустился сюда и вот здесь, прямо на кухне, защелкнул карабин за вентиль трубы отопления – вот здесь! – а голову просунул в петлю. И все! Присел на корточки... – Я услышала вой Томми, спустилась сюда, а Герман был уже мертв.

Это было ужасно! Особенно его руки. С ладоней слезла кожа. Он, перед тем как совершить свой ужасный поступок, зачем-то схватился за трубу отопления. А январь был очень холодный, топили сильно, и ладони были сильно обожжены!

Вот, кстати, это письмо! Тут вначале про меня, потом про несчастного Вилли – это брат Германа. Его судьбу тоже покорежила эта страшная война. Он служил в СС...

...Нет-нет! Не думайте! Писал точно сам Герман! Видите букву «F»? Ее так писал только Герман. Это подделать невозможно. И потом, в письме есть детали, о которых знаем только мы двое. Эти детали он специально выделяет, чтобы я была уверена, что именно он писал это письмо, что это не подделка.

...Он важный знак мне дал. Помнишь, говорит, стихи, которые я тебе читал в день нашего знакомства? А читал он стихи Рильке. Немцы не любят Рильке. В Германии вообще не жалуют

австрийцев... Гитлер – это скорее чудовищный парадокс... Поэтому любовь мужа к Рильке была, как говорится теперь, нонсенс. Этим мне Рильке и запомнился. Хотя я сама не прочитала ни одной его строчки.

Так вот, Герман всю жизнь читал мне стихи Рильке. Особенно он любил у него стихотворение, которое я по-настоящему поняла только тогда, когда Герман ушел из жизни. Кажется, так: «Что станешь делать, Боже, коль умру я?...»<sup>12</sup> Ну, там, в этих стихах, если помните, про то, что со смертью человека исчезает весь мир и даже дела Божьи утрачивают смысл.

Так, что-то я запуталась: а при чем тут Рильке? Ах да! Это я о том, что Герман, упоминая Рильке, давал мне знак, что пишет письмо именно он. Незадолго до смерти он намекнул мне, что с войны хранил что-то, по его словам, бесценное. Он тогда так и сказал, то есть написал: «Бесценно», – не в переносном смысле, а в самом прямом! Мол, если захочу, могу ЭТО продать. И речь идет о миллионах марок! Представляете?!

И вот он пишет – вот здесь, читайте! Все письмо читать не надо – тут много личного. Вот отсюда!

Каленин взял письмо, которое фрау Шевалье перегнула таким образом, чтобы он сразу увидел то место, с которого надо начать чтение. При этом женщина была абсолютно спокойна и только иногда шмыгала покрасневшим носом и трогала платком глаза, которые от влажного блеска неожиданно помолодели и даже похорошели.

«...что касается того нашего разговора, Констанция, то должен тебя заверить: все так и есть, как я сказал. Но! Но, если ты читаешь это письмо, значит, судьба распорядилась моей жизнью иначе, чем я думал. Значит, прошло уже сорок дней со дня моей смерти. Я так и наказал, отправляя письмо: вручить по истечении сорока дней.

Констанция! То главное, что я берег все эти годы, принадлежит тебе. ЭТА штука столь же бесценна, сколь и опасна. Я ЕЕ надежно спрятал, и найти ЕЕ теперь сможешь только ты одна.

Зайди в клинику и посмотри на свой портрет возле двери. Это шифр, который будет понятен только тебе. Ты же умница! Итак.

1. Вспомни, какого числа и какого месяца я тебя сфотографировал на берегу Рейна. Портрет на стене сделан с этой фотографии. Вспомнила? Четыре цифры есть!

2. Чтобы найти ТО, что я спрятал, нужны еще две цифры. Смотри на ладонь – она их укажет. Теперь ты знаешь все шесть цифр!

3. Вспомни первую строчку стихов русского поэта, которые я читал тебе в тот день. Вряд ли ты знаешь других русских поэтов! Вспомнила? Теперь ты знаешь место, где искать ЭТО...»

\* \* \*

Каленин прервал чтение и вопросительно взглянул на фрау Шевалье. Его взгляд был абсолютно понятен: мол, зачем все эти загадки.

Но фрау Шевалье вопрос поняла по-своему. Она извиняющимся тоном произнесла:

– Он пошутил, мой добрый Герман. Я никогда не относилась всерьез к его увлечению стихами. К тому же я иногда не помню имя моей консьержки, а он мне про какого-то русского поэта. Просит вспомнить строчку... Это невозможно! Разве что вы что-то мне подскажете.

– Я?! – изумленно спросил Каленин. – Я-то чем могу вам помочь?

– Сначала дочитайте до конца. Вы же литератор!

---

<sup>12</sup> Эрих Мария Рильке (1875–1926) – известный австрийский поэт. Цитируется стихотворение из сборника «Книга из монашеской жизни».

«...Итак: первые две цифры – это номер того, о чем говорится в стихах русского поэта. А остальные четыре помогут тебе получить ТО, что я хранил сорок лет.

Возьми ЭТО. Там я написал для тебя инструкцию. Если что-то не поймешь, посоветуйся с Адольфом. Вместе с ним вы обязательно найдете правильное решение. Любящий тебя навсегда, Герман...»

Каленин снова вопросительно посмотрел на фрау Шевалье, не очень понимая, что он должен сказать после прочтения столь загадочного текста, из которого он ничегошеньки не понял.

Немка тоже молчала, то и дело шумно вздыхая, а потом неожиданно твердо произнесла:

– Из этого письма я поняла несколько вещей. Герман знал, что ему грозит какая-то опасность, поэтому при жизни не поведал мне свою тайну. Видимо, боялся, что она станет опасной и для меня...

– А из письма вы поняли, в чем она состоит – эта тайна?

– Нет! Не поняла. Вы же видите, Герман так все запутал...

– Но зачем?

Фрау Шевалье вздохнула:

– Видимо, на тот случай, если письмо попадет не ко мне. Кроме меня, расшифровать это письмо никто не сможет. Тут столько личного... Да мне и самой понятно здесь совсем немного. – Женщина виновато улыбнулась. – К примеру...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.